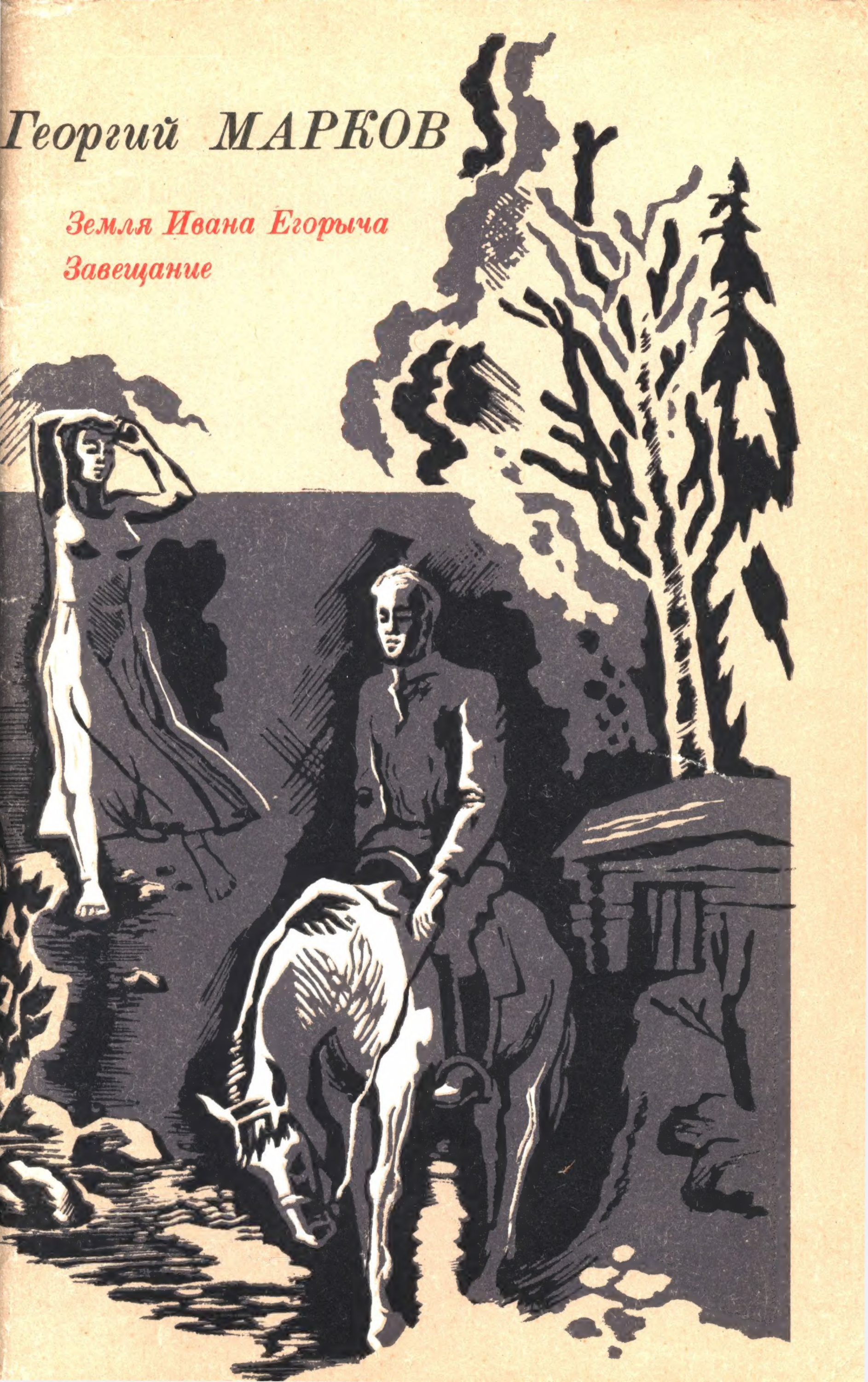

Георгий МАРКОВ
Земля Ивана Егорыча
Завещание

Георгий
МАРКОВ

Земля Ивана Егорыча
Завещание

Рассказ, повесть

Москва
«Современник»
1986

Р2
М27

М $\frac{4702010200-073}{М106(03)-86}$ без объявл.

Земля Ивана Егорыча

Рассказ

1

В тот вечер в Тепловском райкоме долго не гасли огни. Ивана Егорыча Крылова, первого секретаря райкома, провожали на пенсию. Всю свою жизнь Иван Егорыч прожил в Тепловском районе. Из шестидесяти трех лет со дня рождения отсутствовал только четыре года. Шла война с фашизмом. Многие тогда отсутствовали. И многие не вернулись. Многие.

Ивану Егорычу повезло. Приехал с фронта цел и невредим. Некоторые даже не верили, как могло это случиться: человек не вылезал с передовой, а не только не убит, даже не ранен.

— Заговоренный я, друзья-приятели, — отшучивался Иван Егорыч, позванивая орденами и медалями. — Пули от меня отскакивали, как горох.

— Везучий ты, Иван, и на войне уцелел, и в работе везет тебе. Кому выговоры, а тебе награды, — говаривали Крылову секретари других райкомов, когда Тепловский район выдвинулся во всех областных сводках в первые строчки и прочно занял там место.

Напомнили обо всем этом и на прощальном вечере в зале нового каменного особняка, который недавно украсил широкую, просторную площадь районного центра.

На торжество прилетел на вертолете из области первый секретарь обкома Константин Алексеевич Петров. Был он совсем молодой, годился в сыновья Крылову, но успел за свои недолгие годы многое: институт окончил, диссертацию защитил, директором крупного завода был, стоял во главе горкома, два года колесил по областям в должности инструктора ЦК. И все же, по правде сказать, не этим снискал уважение к себе Ивана Егорыча: горячностью своей. Как начнет какой-нибудь практический вопросец раскручивать, не остановится, пока весь клубок до основания, до первого узелка не размотает. И уж если на что-то даст согласие,

то, знай, своих слов не забудет! Недели не пройдет, и понесется по проводам молодой басок Петрова: «Не призабыл ли, Иван Егорыч, о разговоре? Не медлишь ли с делом? Нашел ли смелых, инициативных людей?»

А Иван Егорыч тоже не из тех, чтоб медлить: и разговор не забыл, и с делом не помедлил, и горячих, порывистых людей отыскал...

Среди речей директоров совхозов и председателей колхозов не в самом начале, не в самом конце, а где-то в середине заседания произнес короткую речь и Петров.

— Удачлив ты, Иван Егорыч, — сказал он. — Пусть таким удачливым будет и твой преемник. За Тепловский район в обкоме мы всегда были спокойны. Знали, тепловцы при любых условиях и план сделают, и сверх него коечто дадут. Ну, отдыхай теперь, Иван Егорыч, отдыхай сколько влезет! Поработал и повоевал ты на славу. Жаль нам тебя отпускать, а надо. Ни у кого нет к тебе никаких претензий. Отдыхай!

Иван Егорыч слушал речи товарищей по работе с таким чувством, будто говорили не о нем, провожали на пенсию кого-то другого. И когда руководивший заседанием второй секретарь райкома предоставил слово Ивану Егорычу для ответа, тот растерялся. С минуту стоял он молча, приглаживал ладонями седые волосы, спадавшие на крутой лоб, настороженно поглядывал в зал, до отказа заполненный людьми, которых он знал годы, а большинство — даже десятилетия.

— Ну, перво-наперво за все доброе благодарю, — тихо сказал Иван Егорыч и замолчал, подбирая слова: — Ну и мастера же на похвалу! Пели, как курские соловьи... И такой Иван Егорыч, и этакий... А Самохвалов вон чуть слезу не пустил... Может быть, Федор Федорыч, ты это от радости: слава богу, мол, перестанет старик на рассвете с постели поднимать... — В зале громко захохотали, кто-то крикнул: «По любви он это, Иван Егорыч! Уж очень ты за его совхоз всегда переживал!»

— Спасибо, спасибо... Не хулю тебя, Федор Федорыч... Спасибо и за нонешнее и за прошлое. Помню, как ты на каждой конференции шкуру с меня сдирал: «Райком недоглядел... первый секретарь прохлопал...» Не скрою, и тебе спуску не давали. Не пойми, что в отместку за критику. Нет, по взаимной требовательности. Все ж большевики мы, а не кисейные барышни, чтоб о сладких словах только

думать... Приходилось кой-когда и резкое словцо употребить. Еще раз спасибо за старание, друзья и братья... Желаю вам удач и хочу... чтоб Тепловский район шел всегда в первой шеренге...— Как ни подтянут Иван Егорыч, как ни строг сам к себе, тут голос его дрогнул, глаза повлажнели, и, боясь окончательно растрогаться, он махнул рукой, поспешил закончить речь: — Живите, отцы и матери, долго и счастливо, творите добро людям.

Хлопали Ивану Егорычу, не щадя ладоней. В зале не было равнодушных. В жизни многих из сидевших здесь он играл не последнюю роль: посылал учиться, назначал на должности, хвалил за успехи, взыскивал за упущения, советовал, наставлял, спешил на помощь, а необходимость в ней возникала ежечасно.

2

Шли пятые сутки его новой жизни.

Иван Егорыч проснулся от какого-то внутреннего толчка, ставшего привычкой. В окно, через занавеску, заглядывал скупой рассвет. Слегка поскрипывая, тикали старые ходики. В открытую форточку с огородов вливался терпковатый запах поспевающей конопли. Вспархивали, пересвистываясь, в палисаднике птички-ранопоставки, постукивал ветерок ослабевшей дранищей на крыше.

— Проспал! — вскакивая с постели, прошептал Иван Егорыч и схватился за одежду. — Что ж это Кузьма-то не сигналит? Или тоже вроде меня нежится.

Быстро-быстро залез в штаны Иван Егорыч, натянул рубашку, и тут только пронзил его холодок: «Да ты что горячку-то порешь?! Кончились твои поездки по полям и угодьям. Выпал этот удел другим теперь». Не скидывая ни штанов, ни рубахи, Иван Егорыч бросился обратно в постель, и вспомнилось ему напутствие первого секретаря обкома: «Отдыхай сколько влезет». Слово «отдыхай» как-то подсознательно потекло ручейком, долбя мозг Ивана Егорыча: «Отдыхай... отдыхай... отдыхай...»

Иван Егорыч ворочался с боку на бок, но словцо это не улетучилось, пока он не встал и не запалил папиросу.

Уснуть больше он не смог, хотя и прикладывался на подушку и принуждал себя ни о чем не думать.

Умылся Иван Егорыч быстро, как привык, но, подойдя к кухонному столику, где стояли электроплитка, белый эма-

лированный чайник, сковородка, вспомнил, что спешить ему некуда.

Утром он любил поесть покрепче. Впереди день, полный дел и забот. Хорошо, если выпадут свободные тридцать—сорок минут и он забежит в райчайную потребсоюза, чтоб в крохотном закутке выхлебать тарелку горячих щей и съесть котлету с горчицей. А вдруг обрушится на райком, как это часто бывает, вихрь срочных встреч, звонков, неотложных вопросов? В такие дни не только об обеде, о куреве приходилось забывать.

Иван Егорыч жарил на сковороде яичницу с салом и все посматривал на телефон: не зазвонит ли? Не вспомнит ли кто-нибудь о нем, Иване Егорыче, четырнадцать лет бессменно проработавшем первым секретарем райкома?

Очень хотелось с кем-нибудь перемолвиться словечком. Тишина в доме тяготила. Еще горше делалось от сознания, что и впереди — через час, через день, через неделю — жизнь его потечет вот так же — без спешки, в безделье, в одиночестве.

Иван Егорыч обычно ел быстро, глотал кусок за куском, не разжевывая, обжигался горячим чаем: ждать, когда остынет, было некогда. Теперь он нарочно все делал медленно, степенно, как бы притормаживая сам себя.

«Пищу нужно разжевывать тщательно, глотать без торопливости», — вспомнил Иван Егорыч наставление, вычитанное недавно в журнале «Здоровье», и усмехнулся: «Буду жить по науке и проживу еще лет десять... Разве это много — семьдесят три года? Живут и дольше...»

Но именно в момент размышлений о долгой жизни надорванное сердце Ивана Егорыча напомнило о себе резкими толчками. Он открыл коробочку с лекарствами, принял таблетку нитроглицерина и в ожидании действия лекарства закрыл глаза, привалившись плечом к косяку окна.

Протяжно зазвонил телефон. Иван Егорыч, позабыв о боли в сердце, кинулся к аппарату, схватил трубку, поднес к уху — сквозь шум и треск донесся голос Самохвалова:

— Здравствуй, Иван Егорыч! Ну, как ты живешь в новой должности персонального пенсионера республиканского значения? Надеюсь, отлично! А звоню тебе вот почему: медведь у нас корову покалечил. Ну, пришлось прирезать. Мяска свежего мой шофер тебе завезет. Не обессудь, прими.

— Спасибо тебе, Федя. Не так ты мясом меня порадовал, сколько памятью обо мне... позвонил вот... Как ты там? Почему коровку-то позволили зверю загубить?

В телефоне что-то хрустнуло, и голос Самохвалова смолк. Иван Егорыч с минуту не клал трубку, непрерывно повторял одно и то же: «Алё, Подтаежное! Алё!», — но связь не возобновилась, и волей-неволей пришлось уйти от телефона.

От лекарства ли, от разговора ли с Федором Федоровичем стало Ивану Егорычу лучше: боль в сердце не повторялась, дышалось хорошо. Он убирал посуду в том новом, неторопливом ритме, который решил выработать и утвердить во всем.

«Вот ты и пойми Самохвалова! Позвонил, заботится... А ведь чаще всех других директоров зубатился я с ним... По вопросу специализации хозяйств как-то раз обвинил меня в левачестве, в стремлении выскочить вперед во что бы то ни стало... И думалось порой мне: нет, неспроста Самохвалов в каждом деле огрызается, сам помышляет сесть в первосекретарское кресло. А выходит, зря я его подозревал... На выборах Чистякова вел себя достойно, поддержал кандидатуру с откровенным доверием».

Иван Егорыч размышлял, не прекращая уборки. Квартира его состояла из двух комнат, но второй комнатой после смерти жены он пользовался редко. Здесь нетронутой стояла под белым покрывалом Зинаидина кровать. Гора подушек в вышитых наволочках возвышалась с двух сторон. Сама Зинаида застелила кровать перед отъездом в больницу. Застелила тщательно, аккуратно, даже с каким-то изяществом, словно знала, что никогда сюда уже не вернется, а остаться в памяти людей неряхой не хотела. Свою кровать Егорыч еще при жизни жены вынес в первую комнату. Он часто уезжал на рассвете, возвращался в полночь-заполночь, случалось, ночами поднимали его к телефону. Зинаида, конечно, слышала через дверь все, что происходит в соседней комнате, но не могла не признаться: так все-таки ей спокойнее, да и мужу удобнее.

Квартирка у Ивана Егорыча, прямо сказать, не лучшая в райцентре, но с переездом на новую он не спешил.

— Вот, Зина, — не раз говорил он жене, — переселим всех специалистов и механизаторов в новые каменные дома, и тогда до нас с предом исполкома (тот жил во второй половине этого же бревенчатого старого дома) дойдет че-

ред. Ведь не так уж плохо мы живем. Многие живут хуже.

Зинаида не возражала, ждала. Но не дождалась. Правда, переселилась, да только не на новую квартиру, а в мир иной, как сказал поэт.

Иван Егорыч пихтовым веником подмел пол, мусор подгреб к железной печке и остановился в нерешительности: что же дальше-то делать? В доме все прибрано, в огороде ночью дождь поработал, обед и ужин в холодильнике — вчера еще женщины из райчайной, заслышав об его уходе на пенсию, принесли ему подарок: жареного гуся на противне, туесок хлебного кваса и именной торт, расписанный шоколадной вязью: «И. Е. Крылову — кушайте на здоровье». Одному едоку на неделю хватит.

Иван Егорыч постоял и направился во вторую комнату. Бросились в глаза платья Зинаиды в шкафу, за стеклянной дверцей. Они висели на пластмассовых плечиках, и цветы на материи через стекла казались свежими-свежими, натуральными, только что принесенными с огорода. С юности Зинаида любила материалы яркие, броские, и надо отдать ей справедливость: вкус у нее был хороший. Резкие раскраски очень подходили к ее блестящим глазам, пунцовым губам и разлившемуся по щекам румянцу, который молодил ее лицо даже в пожилые годы.

«Ах, Зина, Зина, рано ты меня оставила», — прошептал Иван Егорыч, обводя взглядом комнату, по-прежнему сохраняющую уют, созданный женскими руками. И вдруг ему захотелось притронуться к платьям Зинаиды. Он открыл дверцу шкафа и, взяв рукав ее платья, долго держал его прижатым к своей груди.

«Схожу-ка к ее дому, к ее вечному дому», — решил Иван Егорыч.

3

Нет, что ни говори о наших предках, и хорошего и плохого — всякое у них было, — а уж выбирать землю для общественных мест они умели. Если церковь ставили, то выбирали для этого либо холм, обозреваемый со всех сторон, либо ровную поляну, опять же открытую человеческому взору отовсюду. Случалось если им рубить мост через речку, то находили для этого такой плес, который был удобен крутизной берегов, близостью их друг к другу и имел вид, был заметен издалека. Такой мост на высоких лиственнич-

ных стояках, с перилами, настилом из прочных, четвертных плах, естественно, не мог не внушать почтения к жителям села. А школа? Ей отводили место непременно на средине села, поодаль от усадеб, чтобы подход к ней был свободным, чтобы ничто не загораживало ее недеревенских широких окон. И вот кладбище. Для него выбирали такой уголок земли, на который сама природа ухитрилась положить краску печали и скорби.

Размышляя обо всем этом, Иван Егорыч остановился перед кладбищенским березняком. Березы тут действительно были необычные. Высокие, прочные в стволах, они стояли тихие, безмолвные, как бы в легком поклоне склонив свои макушки. Ветви берез росли тоже до странности причудливо — они свисали, как косы, безвольно, уныло, и такой грустью веяло от них, что сердце сжималось.

«Вот ведь как стоят, будто понимают всю горечь людских разлук», — подумал Иван Егорыч и зашагал к воротам, а потом в самый дальний угол кладбища, к могиле жены. Сквозь траву, поднявшуюся над могилой, бросилась в глаза серая плита и золоченая надпись на ней: «Зинаида Спиридоновна Крылова. 1914—1973».

«Ну, здравствуй, Зина, здравствуй... Пришел к тебе сказать, что пенсионер я теперь... Помнишь, как мы с тобой вместе раздумывали об этом времени... Хотели историей района заняться... До Москвы доехать, хоть раз в жизни столицу посмотреть не спеша, внука привезти, нашу землю ему показать... Многое хотели сделать, а не пришлось»,— мысленно разговаривал Иван Егорыч с женой, опершись на железную ограду, которую смастерили рабочие мастерской Сельхозтехники в день похорон Зинаиды.

В эти минуты Иван Егорыч настолько был поглощен своими чувствами, что никого и ничего не замечал. А на кладбище, между прочим, текла своя жизнь: где-то неподалеку звяками лопаты (вероятно, отрывали новую могилу), бродили между могил, похрюкивая, свиньи, откуда-то из-за берез доносились рыдания женщины, оплакивающей разлуку с родным человеком, голосисто перекликались в березняке птички.

Иван Егорыч выполол траву, заслонившую плиту с надписью, вновь постоял несколько минут над могилой и, накинув проволочное колечко на калитку оградки, пошел через кладбище, то и дело оглядываясь и мысленно прощаясь с Зинаидой.

Петляя мимо свежих бугорков и уже осевших, заросших бурьяном, мимо подгнивших деревянных оград и свалившихся крестов, Иван Егорыч с острым неудовольствием подумал о себе, о своей забывчивости. Еще в день смерти Зинаиды, когда он приехал на кладбище, чтобы выбрать место для могилы, он обратил внимание на его запущенность. Кладбище было обнесено оградой в три жердины, местами колья, державшие изгородь, подгнили, подломились и почти лежали на земле вместе с жердями. По кладбищу вольно расхаживали свиньи, телята в поисках тени, подремывал здесь под сенью берез старый конь, принадлежавший хлебопекарне райпотребсоюза.

Тогда же Иван Егорыч решил позвонить председателю исполкома поселкового Совета, пристыдить его за такое безобразие. Конечно, кладбище не отнесешь к объектам народнохозяйственного значения, но все-таки людям невозможно обойтись без него, и уж если так, то необходимо следить, чтоб был порядок и на нем. Да и лежат тут, в тиши березняка, многие славные герои гражданской войны, бойцы исторических сражений с фашизмом, отнятые смертью в послевоенное время в результате тяжелых ранений, строители пятилеток, наконец, просто мужчины и женщины, давшие жизнь новым поколениям, — и долг живущих побеспокоиться по крайней мере об их вечном покое.

Но не позвонил тогда Иван Егорыч. Завертелся в потоке дел, которые подстерегали секретаря райкома на каждом шагу.

«Позвоню теперь, пристыжу Печенкина, скажу ему: бюрократ ты, не бываешь там, где обязан бывать... Воспитание нового человека, братец мой, предполагает воспитание уважения в нем к прошлому, памяти о людях, которых уже нет с нами», — думал Иван Егорыч, удрученный беспорядком на кладбище и слегка раздосадованный тем, что не сделал этого три месяца тому назад.

4

Иван Егорыч подходил к дому, когда его догнал почтальон Сеня, секретарь комсомольской организации отделения связи, заочник Литературного института, частенько публиковавший в районной газете стихи из цикла «Новый лик тепловской земли».

— Товарищ Крылов! Иван Егорыч! — на всю улицу звенел голос Сени.

Иван Егорыч вначале никак не мог понять, откуда его зовут. Он шел мимо четырехэтажных домов, которые недавно в поселке построила база Сельхозтехники, и ему показалось, что окликают его откуда-то из окон верхних этажей. Он остановился и начал вопросительно посматривать на раскрытые окна. Тут Сеня и настиг его.

— А я к вам как раз, Иван Егорыч, — заговорил Сеня, встряхивая своей пышной шевелюрой, которую он берег пуще глаза, так как считал ее обязательной принадлежностью своего поэтического таланта. — Письмо вам поступило. Авиа-заказное. Судя по обратному адресу, от Виктора Иваныча. Распишитесь, пожалуйста.

Сеня раскрыл толстую прошнурованную книгу, подал Ивану Егорычу карандаш и письмо, тот расписался, и Сеня помчался назад. Да. Пишет он, Виктор. Его крупный почерк, отчетливый и как будто рисованный, Иван Егорыч безошибочно мог узнать среди тысячи других почерков.

Захотелось тут же вскрыть конверт и прочитать письмо. Иван Егорыч ощупал карманы — очков не было, а без очков он мог читать только на расстоянии вытянутой руки. «Неподходяще. Люди увидят, подумают, что стал Крылов совсем стариком», — подумал Иван Егорыч и заспешил к своему дому.

«Интересно, что Витюшка пишет... небось опять к себе зовет, уговаривает... А как мне уехать отсюда? Разве легко? Столько тут прожито... Куда ни взгляни — всюду родная земля... И могила ее тут... Уедешь — зарастет чертополохом, ржа покроет оградку, упадет на землю, а то и того хуже: свиньи взроют холмик, затеряется моя Зинаида в безвестности», — проносилось в голове Ивана Егорыча.

Поднимаясь на крыльцо, он остановился, чувствуя, что одышка затрудняет дыхание, а сердце стучит, как молоток, в ребра. «Перехватил малость», — прошептал Иван Егорыч и присел на ступеньку отдохнуть. Но сидеть долго не смог: не терпелось.

Через минуту-другую он встал, заторопился в дом и, водрузив очки на нос, сел поудобнее в угол за стол, намереваясь прочитать письмо не спеша, вдумываясь в каждое слово.

Ну, конечно же, в своих предположениях относительно содержания письма Иван Егорыч не ошибся.

«Добрый день, отец. Здравствуй, наш родной папка, — писал сын. — Надеюсь, ты теперь уже на пенсии. Ну, какова жизнь? Не тяготит ли тебя этот «заслуженный отдых»? Зная твою натуру, убежден, что лихо тебе без дела, в одиночестве. И снова повторяю то, что много раз говорил тебе: приезжай к нам. Витька-младший ждет тебя. Нина пишет тебе отдельно. Ей хочется, чтобы жил ты у нас всегда. И не подумай о нас худого: приспосабливать тебя к домашним делам не станем. Поправишь здоровье и захочешь работать — слова против не скажем. Наш городок хоть и маленький, но растет быстро, люди здесь нужны, как нигде. Особенно люди с опытом. Приезжай! Пойми сам, тут тебе будет лучше, спокойнее, и нам так же. Каждый день беспокоимся: как ты там? Здоров ли? Хорошо ли тебе? Дела мои по службе идут нормально. Можешь поздравить меня с новым званием — майор! Выходит, обогнал я тебя. Так что, товарищ капитан, слушайте мою команду: прибыть к месту нового проживания!..»

Под письмом сына каракули внука Витюшки-младшего: «Дедуля, когда поедешь к нам, захвати с собой сибирскую белочку». А на отдельном листочке послание от снохи:

«Дорогой и милый Иван Егорыч! Витя написал все, что мы думаем о вашей жизни. Добавлю от себя, переезжайте к нам, не раздумывайте! Я люблю вас и уважаю как человека большой души. В самые трудные годы моего детства вы не только приютили меня, вы вместе с Зинаидой Спиридоновной заменили мне родителей. А кроме того, именно в вашем доме, в вашей семье я нашла свое счастье: Витю. Разве всего этого недостаточно, чтобы быть вам благодарной весь ваш век? Приезжайте, пусть вас не терзают сомнения. Я убеждена, что вы будете довольны и мной и Витюшкой, ну а о самом Вите не говорю — он сын вам, и его сердце всегда с вами».

Иван Егорыч и раз и два перечитал письмо. Слезы застлали глаза. «Любят они меня. Если б не любили, не стали бы так настойчиво звать. А только упрощают вопрос. «Приезжайте к нам!» Легко сказать! А вот попробуй сделай... Страшно представить... Жил всю жизнь в Сибири — и вдруг Закарпатье... Ах, Витя, Витя, как бы славно все было, пойди твоя жизнь иначе... И зачем только стал ты военным, а не аграрием... Был бы теперь в одном из совхозов агрономом или зоотехником... Да с твоим умом ты бы и директорские вожжи держал умело... А мог бы и в рай-

ком сесть... Вон Аркадий-то Чистяков только на два года тебя старше, а посмотри, какое доверие заслужил — первым выбран...»

Иван Егорыч встал, вытер запотевшие очки краешком скатерти, прошелся по комнате, снова взял письмо. Хотел еще раз перечитать, но отложил, говоря вслух:

— Подумать надо, крепко подумать... А военным Виктор стал из-за меня же. Разве я-то чистый аграрий? Рос на моих фронтовых рассказах... Мои ордена и медали захватили его воображение... Да уж что случилось, того не переменишь. Кому-то надо и на границах стоять... — вздохнул Иван Егорыч, положил письмо в карман пиджака, чтоб всегда при себе было. «Ласковые они, очень ласковые»,— подумал Иван Егорыч и снял трубку с телефона.

— Дай-ка мне, Наташа, Печенкина, — сказал Иван Егорыч, знавший всех телефонисток и по голосам и по именам, и построжел в ожидании, когда ответит Печенкин. Председатель исполкома поселкового Совета ответил не сразу и недовольным тоном.

— Здорово, Тимофей Андреич, здорово. Крылов это говорит. Чем ты недоволен, почему такой раздраженный? С женой, что ли, поссорился? Уступи, братец мой, уступи. Женщин ценить нужно. А уж твою Марию Карповну и почитать можно. И красавица, и работник отличный. Комбинат бытобслуживания на загляденье другим поставила. Соседние районы от зависти сгорают... Нет, говоришь? Не угадал, значит? А в чем дело?.. А, вон оно как! Сельский пастух пьяный напился и потраву совхозного хлеба допустил... За это взыщи по всей строгости... Как бы я поступил? А так же, как ты: высчитать из зарплаты стоимость стравленного хлеба, выговор на исполкоме записать, решение предать огласке... Скот, говоришь, в хорошем состоянии? Ну что же, если в зиму скот такой же будет, выговор снимешь, благодарность объявишь, премию дашь. Растолкуй ему сам его перспективу, растолкуй по-человечески, чтоб не было у него такого мнения, будто рукой на него все махнули из-за этого проступка. Вот так, Тимофей Андреич, действуй. А теперь послушай-ка, что хочу тебе сказать: ты на кладбище давно был? Когда тещу хоронил? Так. Помнится мне, годика три тому назад это дело было. Даже четыре. Ну, видишь, как времечко-то катится... Не откажи-ка, побывай там срочно, посмотри, как усопшие труженики лежат, все ли там с ними в порядке. Усопшим, братец мой, от нас ни-

чего не надо, а вот нам без них не обойтись. Они ведь корни-то, Тимофей Андреич, они. Они славу нашему Отечеству добывали. А мы с тобой — трава, верхушки. Корни крепкие, прочные — и мы с тобой в цвету, в наливе. Побывай-ка там. А какие при этом мысли возникнут — поделись по телефону. Сам понимаешь, прошу тебя по-товарищески, указаний давать не имею права, это теперь прерогатива Чистякова... Поддерживай его, мужик молодой, энергичный и умом не обделен... Ну, позвони, позвони и не ругай, что отвлек от других вопросов.

Иван Егорыч положил трубку с ощущением исполненного долга и лег на диван. Хотелось полежать, отдохнуть, подумать, крепко подумать, как жить дальше.

5

А как же все-таки жить дальше? Иван Егорыч покоя лишился от постоянных дум: ехать, не ехать. Временами тоска сжимала сердце, и тогда созревало решение: надо уезжать. Но стоило Ивану Егорычу представить себе на минуту одну лишь сценку, как сомнения охватывали его с прежней силой. Сценка эта рисовалась ему так: несмело входит он к Чистякову в свой прежний кабинет. Говорит тихим голосом (на громкий не хватает энергии):

— Уезжаю, Аркадий. Снимай с учета. Сын, внук, сноха к себе зовут, жизнь спокойную обещают.

Улыбчивое, с тугими щеками и сильно очерченными бровями лицо Чистякова становится хмурым, мрачно глядя на Ивана Егорыча, он с отчаянием шепчет:

— Иван Егорыч, не верю словам твоим, не верю! Да ты пойми, что ты делаешь! Ты же в самое сердце райкома нож втыкаешь. Теперь мне лучше не показываться в области, перед активом. Из района в район покатится хула: «Слышали, как в Тепловском ветеранов берегут? Даже бывший первый секретарь куда-то смотался, едва только на пенсию вышел. Видать, этот Чистяков — выскочка, без году неделя в секретарском кресле, а людей, как семечки, раскидывает. Ай-ай, позор-то такой!»

Иван Егорыч не был убежден, что будут сказаны именно такие слова, но то, что подобные слова будут сказаны, он ни на минуту не сомневался. Думал он и о другом: «А так ли уж предельно болен ты и стар, чтобы покинуть Тепловское только ради того, чтобы оказаться рядом с сыном и

внуком? С изношенным сердцем тебе тяжеловато было на посту первого секретаря райкома. По справедливости отпустили тебя на пенсию. А если взять дело полегче? Потянешь, вполне потянешь. Люди от безделья и безответственности дряхлеют, а работа по силам молодит человека, вливает в него бодрость. В журналах и газетах немало на эту тему статей напечатано. А в «Правде» один академик прямо высказался: «Активная трудовая деятельность — путь к долголетию».

Вполне возможно, что Иван Егорыч именно такую позицию и избрал бы для своей будущей жизни, если б не Виктор с Ниной. Они зачастили с письмами, и тон этих писем становился раз от разу нетерпеливее: «Когда выезжаешь? Ждем, ждем».

Иван Егорыч отмалчивался, а они, не понимая причин его молчания, отбили телеграмму соседу Крылова по дому — председателю исполкома райсовета Перегудову: «Не откажите в любезности сообщить здоров ли Иван Егорыч тчк На неоднократные наши письма ему ответа не получено тчк Очень беспокоимся ждем вашей телеграммы тчк С приветом и уважением Виктор и Нина Крыловы».

Перегудова, к счастью, самого дома не оказалось. Он по обыкновению колесил по району. К счастью потому, что тот рассказал бы обо всем Чистякову. А уж перед тем открывай душу нараспашку, а тут сам еще не пришел к выводу. Телеграмму принесла жена предрайисполкома. Нетерпение сына и снохи, с одной стороны, растрогало Ивана Егорыча: «Любят они меня, любят!», а с другой — слегка огорчило: «Ну, что они нервничают? Надо же мне все как следует обдумать! Нельзя же меня в таком сложном вопросе за горло брать».

Иван Егорыч отбил телеграмму: «Родные мои Витя и Нина вск Здоровье мое нормальное зпт самочувствие хорошее тчк Проблема выдвинутая вами не простая двтч думаю зпт посоветуюсь с товарищами зпт сообщу тчк Крепко целую вас и Витюшку тчк Отец».

6

Насчет «посоветуюсь с товарищами» Иван Егорыч написал от души, но понимал это по-своему. Советоваться с кем-либо из райактива он считал преждевременным. Он

был убежден, что, с кем бы он ни заговорил на эту тему, поддержки ниоткуда не получил бы.

Самохвалов (директор Подтаежного совхоза) сказал бы по-обычному грубо и прямо: «Да ты что, Иван Егорыч, в обыватели хочешь записаться? Считаю, уезжать нет у тебя морального права. Дождись хоть первого результата в специализации совхозов. Ведь сам же на директоров нажимал нещадно. Или опаска есть, что эксперимент окажется неудачным? А если это не так, подожди годок-другой, порадуйся с нами, успеешь еще с внуком у окошка насидеться».

Застенчивый, тихоголосый предрайисполкома Перегудов, истерзанный язвенной болезнью и неотступными заботами о выпасах, кормозаготовках, дорогах и прочем, повторил бы, вероятно, то, что уже высказал ранее: «Хорошо, Иван Егорыч, что ты живешь по соседству. Припрут трудности, прибегу, как и прежде, за советом. Чистяков, конечно, изрядно книжек начитался. Говорят, у них там в Академии общественных наук в Москве аспирант обязан шестьдесят тысяч страниц освоить. Рекордное прямо дело! А все ж само по себе чтение мудрости не дает. Теорию на практике надо переварить. А какая у Чистякова практика? Самая малость! Не сердись, Иван Егорыч, если на огонек буду заходить».

Еще определеннее высказался бы заврайоно Метелкин Серафим Прокопьевич, привыкший, попросту говоря, «выцыганивать» у колхозов и совхозов на школьные цели все, на что падал глаз: «Иван Егорыч, повремените, не уезжайте, умоляю. Школьное строительство в районе и оборудование кабинетов в школах еще не завершено. Не сочтите за труд, дайте звоночек райпотребсоюзу, пусть в порядке шефского внимания к образованию детишек их пайщиков дадут наряд на пять тысяч кирпичей. И еще бы звоночек в леспромхоз: пусть отпустят триста кубометров пиломатериалов. А вот, говорят, в совхозе у Самохвалова ненужный мотор на центральной усадьбе стоит. Ничего, ничего, что вы теперь не первый секретарь. Ваш авторитет незыблем, они вас не ослушаются. Детки ведь наши, общие, не чужие. Пусть всегда над ними будет солнце, Иван Егорыч».

А райпрокурор? Райвоенком? Председатели колхозов? Нет, нет, ни у кого из них Иван Егорыч не мог бы получить сочувствия относительно отъезда. Все оказались бы

против, так как были уверены: хоть и ушел Иван Егорыч на пенсию, а его опыт, его понимание людей, событий, вещей остаются с ним и составляют не его личный, а коллективный духовный капитал партийной организации.

И все-таки Иван Егорыч не зря написал в телеграмме сыну и снохе многозначительные слова «посоветуюсь с товарищами».

Такие товарищи у него были. Правда, фактически их не было, были лишь их имена и память о них — прочная, стойкая, не угасавшая ни на одно мгновение. К ним, к этим товарищам, часто в минуты тяжких испытаний обращался мысленно Иван Егорыч за помощью и поддержкой...

7

Перед въездом в Тепловское со стороны главного тракта находился обширный холм. Отдельные знатоки высказывались, что в далеком прошлом этот холм представлял собой курган с захоронениями. Несколько позже курган был разграблен, и от того времени остались глубокие рвы, похожие на фронтовые траншеи.

Так ли это было на самом деле, никто твердо не знал, но когда люди смотрели на эти рвы со стороны тракта, то они были уверены, что рвы проложены специально. По ним можно легко взойти на самую вершину холма, а там — гладкая площадка в целый гектар.

Вот эту-то площадку Иван Егорыч и вспомнил, когда в Тепловском районе начали готовиться к двадцатилетию победы над фашизмом.

Детально осмотрев тогда холм, Иван Егорыч внес на рассмотрение бюро райкома предложение о создании на холме мемориала памяти погибших в Великую Отечественную войну солдат и офицеров. Конечно, соорудить что-нибудь значительное, наподобие памятника, который был сооружен на площади в областном центре, район не мог. Не было для этого ни средств, ни сил. Иван Еорыч ставил более скромную задачу: на середине площадки холма поставить обелиск (воин с каской в руке и с приспущенным знаменем), а справа от него установить чугунные плиты, напоминающие страницы развернутой книги с перечислением имен всех погибших тепловцев.

Бюро райкома одобрило предложение Ивана Егорыча.

Трудностей, правда, на пути осуществления этого решения встретилось немало. Обелиск был не металлический, а гипсовый и стоил дешево, но бесплатно все-таки никто его давать не собирался. Нужно было изыскать деньги. Изготавливали такие обелиски в областном центре в мастерской художественного фонда серийно, но Ивану Егорычу хотелось, чтоб для лучшего вида и прочности он был покрыт слоем бронзы. На этот счет пришлось похлопотать: уговорить мастерскую отступить от стандарта, выпросить у одного из директоров завода особый клей, лак, наконец, бронзу. Не сразу согласился принять заказ и чугунолитейный завод, возникший еще в екатерининское время и снабжавший сейчас несколько областей чугунными плитами для домашних печей. Изготовление памятных досок с именами погибших фронтовиков, естественно, требовало нарушить заводской поток.

Когда наконец и это препятствие было преодолено и формовщики закончили выкладку плит, возникла еще одна сложность, о которой Иван Егорыч и мысли не мог допустить. Посетивший Тепловский район инструктор обкома Козлов усомнился в целом в затее райкома. «Перечисление поименно всех погибших фронтовиков не дает гарантии,— писал инструктор в докладной записке обкому,— что на эту почетную памятную доску не попадут лица, проявлявшие на фронте неподготовленность, малодушие, просто трусость. Допустимо ли, чтоб под прикрытием славы подлинных героев мы упрочили в народной памяти имена тех, кто не достоин такого высокого признания». Инструктор настаивал на принятии мер, пока ошибка не стала фактом.

Иван Егорыч не любил сквернословия, и самым сильным его ругательством было безобидное восклицание: «Вот зараза!» — но тут он не стерпел. Когда заведующий отделом оргпартработы обкома позвонил ему и спросил, как он оценивает такое соображение инструктора, Иван Егорыч так хватанул с верхней полки, что сидевший у него в кабинете директор совхоза Федор Федорович Самохвалов, командовавший на фронте артиллерийским полком Резерва Главного Командования, расплылся в довольной улыбке и проговорил: «По-фронтовому, Егорыч! Еще, видать, можешь. Эх, вспоминаю боевые денечки, когда выводил полк на прямую наводку». И лихо взмахнул рукой, прищелкнул пальцами.

А Иван Егорыч в этот же день улетел в обком, и его ровный, как шмелиный гул, говорок слышался то в одном кабинете, то в другом.

— Да вы что, братцы мои, в уме такие нелепые соображения всерьез принимать?! Товарищ Козлов — типичный перестраховщик. Памятником мы прежде всего воздаем должное всем — то есть самому народу. Но мы не Иваны, не помнящие родства,— помня всех, мы помним каждого. Ка-жж-дого! И каждого называем, кто отдал свою жизнь за Родину. Это наш долг и дело нашей совести...

В обкоме с Иваном Егорычем согласились, более того, порекомендовали использовать опыт тепловцев всем районам области. И с тех пор, как мемориал был открыт в День Победы при огромном стечении жителей Тепловского и окрестных деревень, не было другого места, которое так влекло бы Ивана Егорыча. Он бывал тут и в праздники, и в памятные даты, и в самые обыкновенные дни недели.

8

Вот и теперь Иван Егорыч сидел на скамейке, напротив чугунной памятной книги, и не спеша прочитывал список погибших.

— «Синельников Глеб Данилович, политрук»,— шевелил губами Иван Егорыч, щурясь от яркого августовского солнца, которое под вечер изменило свой нестерпимо раскаленный желтый цвет и стало ярко-малиновым. «Глебушка Синельников, красавец, певец, отличный спортсмен, до ухода в армию работал секретарем Тепловского райкома комсомола...» — вспоминал Иван Егорыч. Был Иван Егорыч лет на пять старше Синельникова, а между тем многому научился у этого парня. Сколько книг прочитал Синельников, как заботился о своем образовании! Именно Синельников сговорил Ивана Егорыча прочитать некоторые труды русских корифеев естествознания — Тимирязева, Мичурина, Вильямса. Возможно, это чтение и определило судьбу Ивана Егорыча на всю жизнь: он стал аграрием, убежденным аграрием, строителем нового села.

— «Русаков Павел Евсеевич, майор»,— прочитал Иван Егорыч, и вспомнился ему один из самых незаурядных людей, которые встречались на жизненном пути. Павел Евсеевич вышел из батрацкой семьи, сам испытал эту долю. Четырнадцатилетним мальчишкой оказался в партизанском отряде. Шестнадцати лет вступил в партию. Был

организатором нескольких колхозов. А когда в Тепловском районе возникла МТС, Русаков стал ее директором. К сожалению, до конца своей жизни Павел Евсеевич оставался малограмотным, но, обладая недюжинным умом и энергией, которой хватило бы на десятерых, он столько вложил усилий в строительство колхозов, что не зря один из них носит теперь имя Русакова. Носит заслуженно. Иван Егорыч решительно поддержал желание земляков Русакова, когда они обратились с этим предложением в райком.

— «Копылов Владимир Михайлович, старший лейтенант»,— прошептал Иван Егорыч и встал, с минуту вглядываясь в чугунные буквы... Володя Копылов был закадычным другом Ивана Егорыча. Вместе провели они юность, вместе ушли на фронт. Володя был замполитом в батальоне, которым командовал Иван Егорыч. Он погиб в бою за месяц до окончания войны. Умирая на руках комбата, Копылов попросил друга не забыть его дочку Нинку, оставшуюся после смерти жены сиротой. Копылов перед войной работал агрономом в колхозе, заочно окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию...

Иван Егорыч выполнил наказ друга. После смерти матери Нинка жила у чужих людей, нянчила их детишек. Он разыскал Нинку совсем в другой деревне, привез домой. Зинаида приняла ее как родную дочь. До девятого класса Витя — собственный сын Крыловых — и Нина росли как брат и сестра, а потом возникла между ними ужасная неприязнь, нетерпимость к поступкам и словам друг друга. Как ни старались примирить Крыловы детей, ничего не получилось. Только когда Нина уехала в мединститут, а Виктор поступил в военное училище, все объяснилось. Под прикрытием несовместимости разгоралась между ними любовь.

Никогда не забудет Иван Егорыч тот день, когда из Томска пришла в Тепловское телеграмма, которая потрясла их с Зинаидой своей неожиданностью. «Милые мои мама и папка, сегодня мы с Ниной расписались в загсе и стали мужем и женой. Мы оба счастливы до конца наших дней. Оказывается, дома мы не враждовали, а любили друг друга. Такая уж она, плутовка любовь, может выбрасывать и такие фортели. Приедем в отпуск вместе. Виктор».

Вспоминая сейчас обо всем этом, Иван Егорыч сорвал

ромашку с ослепительно белыми лепестками, подошел к плите и положил цветок на буквы, образовавшие фамилию друга.

«А что мне посоветовал бы Володя?» — подумал Иван Егорыч и сам же ответил себе: «Мечтал он на родную землю вернуться, намеревался рекордные урожаи собирать. Сказал бы мне, по своей привычке заглядывая в глаза: «Умрешь там с тоски, Ваня. Пол-Европы с тобой прошагали. А видел землю краше нашей, тепловской?»

Иван Егорыч не спеша вернулся на скамейку. И снова глаза его заскользили по чугунным листам этой книги вечной памяти.

— «Сахарова Клавдия Васильевна, военврач 3-го ранга»,— прочитал Иван Егорыч, и вдруг, будто поднявшись из небытия, возникла перед его взором, как живая, Клавдия, Клава, Клавдюшка, Клашенька Сахарова. Она была сверстницей Зинаиды, и подругой, и вместе с тем соперницей. Она любила его, Ивана, Ваню, Ванечку, Ванюшку. И он ее любил. И все их друзья и товарищи считали, что вопрос об их женитьбе ясный — они женятся непременно.

Внешне Зинаида уступала Клавдии: Клавдия была высокая, стройная, голубоглазая, со степенной походкой и скупыми и выразительными жестами: не женщина — царица. А Зинаида — во всем противоположность Клавдии: рост средний, худенькая, торопливая, говорила, как из пулемета строчила. Единственное, что все признавали за ней,— глаза. С чем ни сравни, все равно будет в точку. Как озера? Походят. Как электрические фонари? Тоже. А цвет ее глаз был до поразительности переменчивым: густо-серые, холодные — смотрит, как ножом режет; то зеленые, задорные, буйные — веселье через край хлещет. Не хочешь, да улыбнешься.

И характеры у этих женщин, любивших Ивана Егорыча, не совпадали. При всей своей внешней торопливости Зинаида никогда и ни в чем не спешила. Решения она взвешивала, говорила только то, что хорошо обдумала, и в суждениях ее была неотразимая логика. Возможно, именно в силу этих качеств характера развернулся в ней талант педагога, и отдала она этой профессии почти сорок лет жизни, скончавшись на ответственном и беспокойном посту директора средней школы.

А Клавдия носила душу порывистую, была натурой увлекающейся и часто, сделав что-то, потом спохватыва-

лась и казнила себя до нового, столь же мало обдуманного поступка.

Дав слово Ивану Егорычу после окончания третьего курса выйти за него замуж, Клавдия уже на втором курсе увлеклась весьма пожилым доцентом, развела его с прежней женой, а Ивану Егорычу прислала письмо: «Ваня, дура я набитая! Выхожу замуж за человека на двадцать лет старше себя. Чувствую, что, порывая с тобой, теряю свое счастье, а что могу сделать? Остановить себя не в силах. Прости меня и, по возможности, не считай подлой».

Прошло три года, и вдруг Клавдия объявилась в Тепловском. Она приехала сюда на постоянную работу в районную больницу, навсегда покинув своего доцента. Встретив Ивана Егорыча, женившегося уже на Зинаиде, Клавдия сказала, что любит его еще больше.

— Оставь, Клаша, эти игрушки. Я женат и амуры разводить с тобой не собираюсь,— сказал тогда Иван Егорыч.

— И я не собираюсь, Ваня. Я буду любить тебя со стороны. Это-то можно?

— Считай, как хочешь.

И ведь любила она Ивана Егорыча. Любила! Уж как у нее это получалось, никто об этом не знал. Знала лишь Зинаида, вернее, догадывалась, хотя никогда не высказывала Ивану Егорычу, не видя ни малейшего повода для такого разговора. Но скрывать правды не стоит — повода Клавдия не давала, однако бдительность от этого у Зинаиды не ослабевала. Она то и дело поглядывала в сторону Клавдии, зная характер той: может такое отколоть, что только руками разведешь!

И вот началась война. Клавдия, как врач, была на военном учете. В первый же день мобилизации она потребовала от военкомата призвать ее в армию. Ее призвали.

С самого начала их воинской службы они были с Иваном Егорычем в одной дивизии. В зимнюю стужу сорок первого года дивизия вступила в кровопролитные бои на Волоколамском направлении.

Иван Егорыч командовал взводом. Клавдия была назначена начальником эвакопункта одного из полков. О встречах, разумеется, и думать было нечего. Но оба они не переставали интересоваться друг другом, пересылали

приветы, пользуясь оказиями, порой возникавшими самым неожиданным и странным образом.

Однажды Иван Егорыч прочитал в дивизионной газете заметку о героизме врачей и санитаров эвакопункта, попавших в окружение. Скупо сообщалось: «Советские военные медики под командованием военврача 3-го ранга Сахаровой сражались с гитлеровцами до последнего патрона, они геройски погибли все до одного, но в плен врагу не сдались».

К моменту гибели Клавдии многие уже товарищи Ивана Егорыча пали в бою, но ничья смерть не образовала в его душе такую кровоточащую рану. «Значит, и мне суждено погибнуть вслед за Клавой»,— почему-то решил Иван Егорыч. Но это было лишь отзвуком его страдания, не больше.

— Вечная память тебе, Клава,— прошептал Иван Егорыч и перевел свой медленный взгляд на другие строки.

— «Недоспасов Николай Ефимович, сержант»,— читал вслух Иван Егорыч и про себя вспоминал: «Помню, помню, тракторист из колхоза «Комсомолец», хороший мужик был, работящий, одним из первых в районе трактор освоил. Он ехал по деревне, а за ним бежали с криком ребятишки, старухи и старики прижимались к своим завалинкам».

— «Неумелов Савва Кондратьевич, солдат», — снова вслух прочитал Иван Егорыч и подумал: «И этого помню. Бригадиром был в колхозе «Новая жизнь». Хорошие льны на своих полях выращивал... А фамилия у него несправедливая... Неумелов... Какой там Неумелов?! Мастер! Отличный мастер! И в армии не последним был — снайпер. Лихо было от него гитлеровцам... Помнится, погиб от минометного огня при обстреле наших позиций...»

— «Портнов Сергей Григорьевич, старшина»,— продолжал читать Иван Егорыч. «Учитель из Сосновки, увлекался радиотехникой,— вспоминал Иван Егорыч.— Первым в районе сделал радиоприемник, созвал односельчан слушать радиопередачу. Никто, конечно, не верил, что можно услышать голос из города, до которого тысячи километров. Народ все-таки собрался у школы. Многие были убеждены, что учитель будет посрамлен. Вот вынесли стол, поставили на него ящик с какими-то замысловатыми катушками, обмотанными проволокой. Учитель залез на крышу школы, поднял на ней шест с проводом, потом сошел

наземь, прикоснулся к ящику. В нем что-то захрипело, защелкало, и вдруг раздался громкий, отчетливый голос: «Внимание, говорит Москва, передачи ведет радиостанция имени Коминтерна».

Собравшаяся толпа мужиков, женщин, ребятишек бросилась врассыпную. Какая-то кликуша-старуха завопила на всю деревню: «Люди! Светопреставление... Идол наш учитель, антихрист. Бейте его!» Толпа воротилась, кинулась на учителя. Ящик был разбит до основания. Портнов спасся в школе, заперев все двери и окна на запор. Какая дикость была, и какой мы путь прошли! И все это на моей памяти»,— размышлял Иван Егорыч.

День угасал. Малиновое солнце опустилось в лес, где-то сразу за селом, и с полей повеяло медовой прохладой. А Иван Егорыч все не уходил с холма. Ведь триста фамилий значилось на чугунных листах, и каждая из них повествовала не только о себе — о времени, которое называлось теперь — история.

Разве просто было оторваться от этой земли, уехать куда-то, забыть их имена навсегда?.. Рассудок допускал это, а сердце отвергало, начинало стучать громко и яростно, до боли под лопатками.

Завещание

Повесть

1

В ясный сентябрьский полдень тысяча девятьсот сорок шестого года на просторных улицах районного городка Приреченска, застроенных еще в прошлом веке бревенчатыми домами, крытыми тесовыми крышами, с окнами в резных наличниках, а теперь постаревшими, осунувшимися, зияющими прогнившими углами, появился человек в поношенном военном обмундировании. На нем была короткая шинель без погон, офицерские хромовые сапоги, брюки с малиновым кантом и выцветшая серо-зеленая фуражка со звездой из жести. За плечами человека висел вещмешок с признаками нетяжелой поклажи. В правой руке человек держал увесистую палку, на которую опирался при каждом шаге,— что-то в пояснице мешало ему шагать свободно и легко. Из левого рукава шинели виднелся протез. Черные пальцы были полусогнуты в горсть, и казалось, что человек несет в полусжатой ладони, как сеятель на пашне, семя.

Инвалид долго и не спеша колесил по улицам Приреченска, временами останавливался, привычным, натренированным движением здоровой руки вытаскивал из глубокого, емкого кармана шинели папиросу, стискивал ее в зубах, достав оттуда же фигурную зажигалку, пыхал дымом неторопливо и с наслаждением.

Потом он вышел на окраину городка, к березовой роще, под прикрытием которой стояли одноэтажные домики районной больницы, и тут простоял особенно долго. Переступая с ноги на ногу, беспрерывно попыхивая дымком, он присматривался к движению машин и подвод на широком больничном дворе, прислушивался к шелесту березовой и рябиновой листвы, опаленной уже первыми заморозками и ярко-многоцветной, как узбекский шелк, иногда доходивший сюда на плечах заезжих женщин, до-

ставляющих в госпитали и детдома ароматные плоды южных садов и полей.

Мимо военного проходили мужчины и женщины, пробегали из школы с сумками и портфелями деловито-крикливые детишки, а он словно не замечал никого. Он был захвачен своими наблюдениями, погружен в свои думы.

Сказать по правде, и он тоже не очень привлекал внимание прохожих. Стояла та пора нашей отечественной истории, о которой сказала одна приреченская, прожившая длинную жизнь старуха:

— Великое столпотворение началось. Кинулись люди вить гнезда, как птицы после вешнего перелета. Снова вывернется горе людское наизнанку. Много еще слез прольется, пока счастье проклюнется.

Приреченск хоть и мал городок, а и в нем суета стояла страшенная. Одни уезжали к себе домой, их загнала в сибирскую даль невзгода — бегство от оккупации, другие, наоборот, спешили сюда из мест, в которых обитали поневоле,— там захватила их гроза, не было ходу ни вперед, ни назад. А третьи — и таких было множество — возвращались на родную землю, пройдя через горнило войны, обожженные ее пламенем. Этим приреченская земля казалась еще краше, чем в то далекое время, которое называлось теперь довоенным.

Спустя час или два (никто этих минут не считал) человек поднялся на крыльцо продолговатого деревянного дома, в котором помещался Приреченский районный военкомат, и попросил дежурного офицера провести его к военкому.

Через несколько минут в кабинете военкома он представился по всей форме:

— Полковник Михаил Иванович Нестеров. В связи с тяжелыми ранениями вечный инвалид. Имею намерение поселиться навсегда в Приреченске. Можно ли рассчитывать, товарищ военком, на содействие местных властей?

— Здравия желаю, товарищ полковник. Присаживайтесь,— почтительно привстал в кресле райвоенком, который сам на две ступени был ниже в воинском звании, а по возрасту годился пришедшему офицеру-инвалиду если не в отцы, то в старшие братья.

— Благодарю, товарищ майор. Разрешите закурить.— Инвалид потянулся правой здоровой рукой в карман ши-

нели. Майор опередил его, придвинул свою коробку папирос.

— Не откажите отведать моих, товарищ полковник.

— Представьте себе: от «Казбека» кашляю, а вот «Беломор» переношу с удовольствием,— уклонился полковник.

— Ну, не зря, видимо, говорится: на вкус, на цвет товарища нет,— усмехнулся майор и, стянув к тонкому, хрящеватому носу смуглую кожу впалых щек, с тяжким усилием зачиркал спичкой о коробок. А когда пламя вспыхнуло, поспешно поднес спичку полковнику. Раскуривая каждый свою папиросу, офицеры молча присматривались друг к другу, в уме перекидывали первые впечатления.

«Молодой, а уже полковник... Горбом заработал или пофартило?» — думал военком.

«Этот, видно, не нюхал пороху... Просидел войну в затхлых комнатах военкомата, выбивал для фронта из обедневших колхозов последние крохи да умывался вдовьими слезами, вручая женщинам похоронки... И, видать, туберкулезом прихвачен... Испитой, как подсушенный табачный лист»,— проносилось в голове Нестерова.

— Дивлюсь, товарищ Нестеров,— откровенно окидывая внимательными, слегка прищуренными глазами Нестерова, его круглое лицо с румянцем во все щеки и белесоватыми, как у завзятого купальщика-мальчугана, выгоревшими бровями, крепкие, прямые плечи спортсмена, прикрытые шинельным сукном, заговорил майор,— когда вы при таких молодых годах успели полковником стать? Ой, не шуточное это дело — три больших звезды на погон приобрести... Задаром-то и маленькую звездочку не заработаешь... По себе знаю... Я вот кадровый военный... Нормальное училище закончил... взводом и ротой до войны командовал, а не случись война, самое большое, что мог бы иметь, — капитана... Помогла эта распроклятая мясорубка войти в чины-должности!.. Ведь страшно сказать вам, товарищ полковник. Побывал я в должности комдива... Да, да... Выводил остатки дивизии из окружения... Уж так получилось...

«Ну, вот тебе и не нюхал пороху... А он, видимо, прошел огонь, и воду, и медные трубы. Поспешил, братец мой с выводом»,— упрекнул себя Нестеров.

— А чему изумляться, товарищ майор?! Посчитайте

сами: двадцати трех лет окончил исторический факультет университета, а потом еще два года затратил на окончание спецфакультета. Это двадцать пять лет. Затем три года работал по основной специальности в госархивах и в археологических и энтографических экспедициях. Был, как говорят, цивильным с ног до головы. И даже военкоматы в эти годы не беспокоили... Думал: ну, призабыли меня! Да только ошибся. В тридцать восьмом ранней весной призвали в ряды РККА. Оказался на Халхин-Голе. Вышел оттуда капитаном. Не успел родителей проведать, послали на курсы при Академии имени Фрунзе. Два звания за эти годы получил. Как видите, не так уж щедро. Многие из товарищей генералами стали. А один даже генерал-лейтенант. Война — время стремительных перемен и событий,— одарив военкома улыбкой и доверчивым взглядом, философически закончил Нестеров.

— Понятно, понятно,— пробасил военком, протяжно нажимая на «о», и кивнул на оборванную руку.— А это под самый финиш случилось?

— При штурме Берлина,— понурив голову, сказал Нестеров.

— Да-а-а... большой кровью досталась нам победа,— покачивая крупной черноволосой головой, тихо произнес военком.

— Могло быть хуже,— попробовал утешить себя Нестеров и снова с улыбкой посмотрел на военкома, а потом перевел взгляд на угольно-черный протез.

— Ну, и что же теперь? — помолчав, спросил военком.

— Теперь? Именно поэтому и зашел. Намерен поселиться в Приреченске.

— Навсегда?

— На весь остаток жизни.

— Почему остаток, товарищ полковник?! На всю вторую половину жизни. Вы же совсем еще молодой!

— Пусть будет по-вашему. Согласен.

— Не заскучаете здесь, в глухомани?.. Может быть, сразу взять курс на областной центр? Там ваши знания скорее пригодятся.

Нестеров отрицательно замотал головой:

— Нет, нет, имею твердую рекомендацию медиков: жить по свободному расписанию, больше быть на природе... К тому же имею давнее тяготение... к одиночеству...

Военком вопросительно взглянул на Нестерова и, озадаченно пошевеливая обкуренными длинными пальцами, сказал:

— Молодой человек и в одиночестве... Как-то не вяжется.

— Вынашиваю замысел одной кропотливой научной работы,— слегка смущаясь, сказал Нестеров.

— Понятно, понятно. Вполне допускаю.— Военком повеселел, оживился, прихлопнул ладонью о стол в чернильных пятнах.— Что ж, будем помогать... В добрый час, товарищ полковник. Начинать надо, вероятно, с жилья. Сейчас я вызову нашего квартирмейстера, посмотрим, что у него есть на примете. Лучше бы, конечно, поселился у кого-нибудь в частном секторе...

— А нельзя ли, товарищ майор, купить домик? Заприметил я здесь пятистенный домик напротив больницы... Вполне приличный, крепкий еще и, главное, пустой. Окна и двери забиты.

— Наверняка ремонт потребуется.

— Сделаю.

— Попробуйте... Денег хватит?

— Должо бы хватить. Выходное пособие по демобилизации получил, кроме того, за пять лет отпускных начислено, кое-что осталось от фронтовых получек... И дом, судя по всему, покинут. Едва ли дорого за него возьмут.

— Пока деньги не растеклись — покупайте. А пустой дом сейчас не редкость: началась утечка населения в другие места, более обжитые и более светлые. Пока шла война, люди терпели, не было выбора, а теперь что же — мир, свобода передвижения... покой. Непривычно даже: покой.

— И многие, очень многие начинают жить как бы заново,— вставил Нестеров.

— Вот вроде меня. Кругом один: жена и дочь погибли под бомбежкой, братья погибли в боях, мать и отец сожжены вместе со всей деревней...— Голос военкома прервался, загас, помрачнело его испитое, с глубокими впадинами на щеках желтое лицо. Он поспешил наклонить голову, скрывая заблестевшие в глазах слезы.

Опустил голову и Нестеров, чувствуя, что ему становится тяжело дышать от каких-то острых схваток в горле.

Дом, который купил по дешевке Нестеров у родственников вдовы погибшего фронтовика, уже откочевавшей из этих мест, оказался в самом деле не настолько старым, чтобы нуждаться в большом ремонте. С внешней стороны Нестеров ограничился самым необходимым: проконопатил мхом пазы и на четверть метра поднял уровень завалинки. А вот внутри дома пришлось похлопотать: вставил вторые рамы, переменил крюки дверей, перебрал в прихожей расщелившийся пол, побелил печь, покрасил белой эмалевой краской косяки и подоконники, замазал тертой глиной отверстия между печной трубой и потолком.

Когда эта работа была закончена, Нестеров соорудил из плах книжные полки, скамейку «на три посадочных места». табуретку. К его удовольствию, делать стол не потребовалось. На вышке дома он нашел столешницу, перекладины, ножки от старого стола. С помощью гвоздей и клея он заново собрал стол, слегка подкрасил его густой охрой и водрузил в передний угол.

Райвоенком майор Фролов сдержал свое слово: он помог Нестерову не только стройматериалами, досками, кирпичом, гвоздями, краской, олифой, но и прислал два грузовика пиленых березовых дров. Не остался безучастным к судьбе одинокого полковника и райпотребсоюз: председатель райпотребсоюза Силантьев — одноногий инвалид, завершивший свой ратный путь еще в подмосковных боях сорок первого года, разыскал на складах потребсоюза набор столярных инструментов, кое-что из посуды — эмалированные кружки, чайник, два котелка различных объемов, сковородки, ложки и вилки, ножи, настольную керосиновую лампу — двенадцатилинейную, с пузатым, грушевым стеклом.

А вскоре поступил ящик с имуществом Нестерова, отправленный им по железной дороге большой скоростью из Горького, где полковник провел почти целый год, вначале в госпитале, а потом в ожидании протеза, а точнее сказать, в размышлениях о своей будущей жизни, в поисках возможных вариантов устройства личного существования.

Правда, ящик ненамного увеличил достояние Нестерова, но все-таки без него было бы совсем трудно. Больше чем наполовину ящик был загружен книгами. Немало

усилий употребил Нестеров, чтоб собрать книги, а главное, сберечь их в трудных условиях боевой походной жизни. Когда отступали, тогда, естественно, было не до книг — унести бы подобру-поздорову собственную голову. Но вот пробил долгожданный час военной фортуны, подготовленный неслыханным упорством наших бойцов в кровопролитных битвах с наседавшим противником. И покатилась живая волна с неостановимой силой назад, обратно к Западу.

Входя в разбитые, полусожженные города России, Украины, Польши, Нестеров с горячим интересом, ставшим неодолимой страстью, бросался к книгохранилищам — что с ними стало? Сберeглись ли? Уцелели или погибли бесследно в прожорливом чреве войны?

Почти всюду была одна и та же картина: на месте зданий библиотек лежали груды размельченного кирпича, перемешанного с серым пеплом сгоревших книг. Ветер разбрасывал обожженные переплеты, обгоревшие листки книг по улицам и площадям, и ничто, может быть, другое не подчеркивало с такой наглядностью варварства фашистов, как эти растерзанные книги.

Простой саперной кайлой Нестеров расковывал битый кирпич, надеясь натолкнуться на уцелевшие книги, обратить внимание на них комендантов и местных властей освобожденных городов. Но занятие это не приносило успеха. Книги погибали не только от огня, не меньше они гибли и от воды. Перебитые взрывами водоисточники выбрасывали на поверхность тысячи кубометров воды, превращая пожарища в месиво известняка, глины, картона и бумаги.

Однако в трех-четырех городах Нестеров извлек из руин десятка два относительно уцелевших книг. Это были разные книги: однотомник Пушкина, поэмы Маяковского, два разрозненных тома из собраний сочинений Тургенева, справочник электромонтера, четвертый том Толкового словаря русского языка Даля, сборник стихов Асеева.

Практически книги были не нужны Нестерову, но у него возникло к ним чувство уважения и почтительности, словно они были одушевленные существа и могли поведать обо всем, что довелось им пережить в эти годы борьбы и страданий. И он решил сберечь их.

Потом, в Германии, он пополнил свою небольшую коллекцию книг новыми приобретениями. Это были кни-

ги, также извлеченные из руин. Сами по себе они не представляли особой ценности. Но, будучи поднятыми из завалов рейхстага и имперской канцелярии, они становились по одному этому экспонатами истории.

Кое-кто из товарищей по службе подшучивал над Нестеровым:

— Зачем они тебе, полковник? Подумай лучше о другом: что будешь носить на себе, когда наступит мирное время? Или уж лучше возьми вон какой-нибудь сервиз на память... Или еще что-нибудь... У немцев есть что выбрать: и своего добра много и нахапали они всего со всей Европы.

Нестеров отшучивался:

— Прошу не навязывать свои вкусы. Каждый чудит по-своему.

И вот теперь все его книги достигли конечной пристани. Ну а кроме книг, в ящике были вещи более необходимые: зимнее пальто с каракулевым воротником, плащ, белье, два костюма, два бельгийских винчестера, изъятых бойцами Нестерова из арсенала охотничьего оружия какого-то поместья в бывшей Пруссии, фронтовые карты, записная книжка, пишущая машинка «Олимпия».

Короче сказать, прошло лишь три недели, как Нестеров появился в Приреченске, а у него все уже было готово к тому, чтобы начинать новую жизнь в мирных условиях, на новом месте.

3

Было воскресенье. Ласково светило предзакатное солнце, голубело по-летнему высокое небо, и от раскрашенных палисадников широкие улицы Приреченска казались праздничными. Стояли последние погожие деньки теплой осени, вслед за которыми начнутся тягучие дожди с прохладными ветрами и острыми, режущими ноздри запахами остывающей земли.

Именно такой день и такой час выбрал Нестеров для посещения Лиды. «По крайней мере она сегодня свободна от работы. И время подходящее: обед давно закончился, а до ужина еще далеко»,— думал Нестеров, причесываясь перед квадратным зеркалом, которое он прочно укрепил на стене.

Оделся он во все штатское: синий костюм из добротного довоенного бостона, белая шелковая рубашка, пестрый галстук, штиблеты с крупными круглыми носками, почему-то названными в просторечии гамбургскими, ну и плащ сверху.

Нестеров отвык от штатской одежды, то и дело передергивал плечами. Было у него такое ощущение, что вся одежда ему велика, она повисла на нем, как мешок на колу. Но ощущение это было ошибочным, возникло оно от привычки к военной форме в обтяжку. Через полчаса Нестеров притерпелся к штатской одежде, и непривычно свободные на нем, широкие, полоскавшиеся брюки не вызывали уже тихого раздражения.

Еще в первые дни своей жизни в Приреченске Нестеров изучил городок, по нескольку раз прошагал по его улицам и переулкам, поросшим по обочинам плотной зеленой травкой и покрытым широкими тротуарами из крепких, не успевших еще прогнить плах.

Лида жила за больницей, в каменном доме, прятавшемся в березовой роще. Ее адрес Нестеров помнил по конвертам, которые нередко бывали в его руках.

Нестеров шел не спеша, изредка поднимал над головой теплую, с широким козырьком кепку, с удовольствием чувствовал, как легкий ветерок своим бережным прикосновением шевелит волосы. Костюм теперь не обременял его, правда, раненая нога все еще временами подвертывалась и тянула куда-то в сторону.

На душе у Нестерова было и смутно и горько. Но не посетить Лиды он не мог и уже не раз втайне упрекал себя за промедление, которое допустил исключительно из-за хлопот с домом. Но ему казалось, что будет лучше, если он придет к Лиде не просто человеком, случайно заглянувшим в Приреченск, а уже его постоянным жителем, имеющим даже собственный дом. Ничто другое, пожалуй, не могло ее убедить в серьезности его намерений.

Возле дома Нестеров увидел ребятишек, суетившихся на полянке с мячом. Он подошел к ним, поздоровался. Ребятишки прекратили игру и с откровенным интересом принялись рассматривать незнакомого человека.

— Скажите, ребята, где живет Лидия Петровна Кольцова? — спросил Нестеров.

Ребятишки наперебой, с великой готовностью изъявили желание довести Нестерова до самых дверей квартиры,

но он остановил их, сказав, что сам теперь найдет и второй подъезд и третий этаж. С некоторым сожалением ребятишки проводили его взглядами, полными жгучего любопытства, и вернулись к прерванной игре.

У дверей с металлической табличкой «квартира 37» Нестеров остановился, чувствуя какое-то стеснение в груди. За дверью было тихо, и, постояв с минуту в молчании и не найдя звонка. Нестеров постучал в дверь настораживаясь и прислушиваясь.

Дверь неожиданно распахнулась, и Нестеров увидел высокую светловолосую, яркоглазую молодую женщину в белой блузке и черном платке, наброшенном на плечи. Она еще не произнесла ни одного слова, а Нестеров уже знал — это она, Лида. Вопросительно вскинув брови и взглянув как-то поверх головы Нестерова, женщина, убежденная, вероятно, что произошла ошибка, сказала:

— Простите, это квартира тридцать семь. Вам кого нужно?

— Лидию Петровну Кольцову.

— В таком случае проходите. Кольцова — это я.

— Очень хорошо. Вас-то мне и нужно,— сказал Нестеров первые пришедшие на ум слова, испытывая еще большее стеснение в груди, чем две минуты назад.

— Проходите, пожалуйста, и раздевайтесь вот здесь. А потом прошу пройти сюда.

Отступив на полшага в сторону, женщина пропустила Нестерова в сумрачный коридор, в углу которого стояла круглая вешалка Не дожидаясь, когда он снимет плащ и кепку, женщина распахнула дверь в комнату и скрылась в ней.

— Пожалуйста, проходите! Проходите сюда! — В ее голосе Нестерову послышалось скрытое волнение.

Нестеров не спеша разделся, вошел в большую комнату с широкими, светлыми окнами. Женщина стояла возле стола в настороженной позе. В круглых серых глазах плескалась тревога. Она прикусила губы, безвольные руки повисли на бедрах, одно плечо поднялось, а второе, наоборот, опустилось. Внутреннее ожидание чего-то крайне необыкновенного сковало ее с ног до головы.

— Здравствуйте, Лидия Петровна,— произнес Нестеров сдавленным голосом, перебарывая стеснение

— Здравствуйте. Кто вы? Я где-то вас видела. Убеждена,— скороговоркой сказала женщина, присматриваясь

к Нестерову, окидывая взглядом его плотную фигуру и с мучительным напряжением вспоминая, где и когда она встречалась с этим человеком.

— Ошибаетесь, Лидия Петровна. Мы с вами никогда не встречались. Нестеров я, Михаил Иванович, а для вас просто Михаил или Миша, друг вашего мужа, Степана, Степы Кольцова.

— Нестеров?! Тот самый Мишель, о котором с такой лаской в каждом письме писал Степа?.. Присаживайтесь, пожалуйста! Вот здесь, вот сюда. Я знаю вас, знаю по фотографиям. Степа присылал. Как же вы у нас оказались? И когда? И надолго ли?..— Зардевшись и приходя в состояние какого-то бесцельного суетного движения, говорила Лидия Петровна.

— Спасибо, я присяду и отвечу на все ваши вопросы,— сказал Нестеров и, шагнув в глубь комнаты, придвинул к себе стул.

Но это не успокоило женщину. Ей почему-то не хватало сейчас сил остановить себя, и она выскочила из комнаты, на ходу сказав:

— Извините, я поищу маму.

Послышался скрип дверей в глубине квартиры, стукоток, беготня, и вдруг все смолкло.

Нестеров осмотрелся. Он сидел в квадратной просторной комнате, заставленной обветшалой мебелью: потертый комод, залоснившийся диван, просевшее кресло, в простенке — столик с аккуратными стопками книг. Над столиком в рамке портрет Степана. Снимок один из последних: свисающий на лоб чуб, сильные складки от носа к подбородку, в прищуре темных глаз, устремленных в какую-то безвестность, усталость и тоска, как бы предчувствие неизбежности смерти, уже поджидавшей его. Тугой воротник гимнастерки с расстегнутой верхней пуговицей, чуть свисшие с плеч полевые погоны с малозаметными двумя просветами и двумя большими звездами возле кромок.

Он был снят на фоне самоходок, орудийных стволов, похожих не то на хоботы слонов, вскинутых великанами в ярости, не то на стволы деревьев, вывернутых с корнями и переломанных неистовой силой урагана.

«На редкость удачно схвачен. Похож очень. Вот таким он и был. И орудия тут же. Вероятно, взято с общего снимка»,— подумал Нестеров, и взгляд его переместился ниже.

А ниже всего лишь на две четверти висел в такой же рамке еще один портрет — портрет мальчика. Круглое лицо, волосы, челкой спускавшиеся к бровям, озорные оттопыренные уши, глаза, переполненные весельем, и тонкие губы, сомкнутые, чтоб не дать звонкому смеху вылететь и рассыпаться серебряными горстями.

«Да ведь это Тимошка... любимец отца, его кумир и надежда... Знаком мне и он...— вспомнив рассказы Степана о своей семье, подумал Нестеров, прикидывая, сколько же теперь исполнилось мальчику лет.— ...Десять... нет, больше — двенадцать. Много мне с ним будет забот... Хотя, что много? В четырнадцать лет формируются в основном все решающие черты характера».

Рассматривая портреты, кидая взгляд своих пристальных глаз то на сына, то на отца, Нестеров думал о Лиде: «А вот она, по его рассказам, представлялась мне другой: чуть проще, доверчивее, да и, пожалуй, веселее... Как будто стержень в ней... настороженность в глазах, холодок в голосе... Но понять ее можно. Я чужой человек для нее... Это я знаю о ней все, а она обо мне, возможно, ничего не знает или знает совсем немногое».

Лидия Петровна возвратилась минут через пять, несколько сконфуженная таким длительным отсутствием.

— Извините великодушно, Михаил Иваныч. Маму наконец нашла, и самовар в ее верных руках.— Она чуть улыбнулась, подобрав полные, сочные губы.

Лидия Петровна села напротив Нестерова и впервые посмотрела на него спокойно, просто и без того возбуждения, которое бросило ее на немедленные поиски мамы. И он не отвел своих глаз от ее взгляда, выдержал и даже улыбнулся, чуть двинув бровями. «Теперь она ближе к моим представлениям о ней... Походит... на ту самую Лиду, которую любил Степан»,— отметил про себя Нестеров.

— Ну, что же, Лидия Петровна, вот и пришел я. Обычно в таких случаях говорят: гора с горой не сходится, а человек с человеком...— Нестеров мучительно искал слова, а они, как нарочно, исчезали из памяти. Во рту было сухо, язык ворочался с трудом, как опухший.

— Я все получила, Михаил Иванович. Обе посылки дошли: и первая с его вещами, и вторая с его подарками... Спасибо вам.— Голос ее дрогнул, и Нестеров почему-то выпрямился, готовясь к тому, что она сейчас заплачет, плечи ее задрожат от рыданий. Она кинет руки на стол.

Но, вероятно, великий утешитель людских несчастий — время уже сделало свое дело: пригасило боль. Лидия Петровна энергично встряхнула головой, кольца ее пышных русых волос подпрыгнули и рассыпались по спине и плечам, и он понял: нет, она не заплачет. Все самое горькое перегорело в ней в жарком огне душевных страданий.

— Я так благодарна вам, Михаил Иванович, за дружбу с ним,— тихо сказала Лидия Петровна и опустила свою голову, скрывая слезинки, навернувшиеся в уголки глаз.— Так благодарна...— повторила она шепотом.

— Нам много предстоит, Лидия Петровна, прожить вместе, и потому я хочу просить вас: не величайте меня, не зовите меня на «вы»... Это как-то отдаляет меня от вас, а я знаю вас, вашу жизнь в течение четырех лет. Мне сейчас кажется — я не сегодня встретил вас, а знаю давно, давно, с тех пор, когда вы бежали до самой реки, вслед за поездом, увозившим Степана, размахивали платком, сдернутым с головы, и кричали: «Степа, жду тебя! Жду хоть сто лет!»

Должно быть, и она помнила об этих минутах. Она вскинула голову, глаза ее еще больше округлились, бледное лицо на мгновение окаменело, и вдруг все его линии и черты смягчились, пришли в движение от короткой улыбки. Воспоминание о минувшем всколыхнуло душу.

— Боже, и это вы знаете! — воскликнула она и порывисто протянула руку.— Согласна, Миша! И меня тоже не величай и зови на «ты»: Лида.

Невольно они поднялись оба, схватившись за руки, и минуту стояли, испытывая одно и то же желание: скорее взломать перегородку отчужденности, преодолеть пространство незнакомства, лежавшее между ними, и пробиться к той откровенности, ради которой судьба свела их в этом далеком городке Приреченске.

4

— Степа умер у меня на руках. Я писал тебе об этом, Лида, — сказал Нестеров, когда они сели на прежние места, все еще взволнованные и слегка раскрасневшиеся. — Ранен он был в живот... умирал тяжело. — Нестеров замолчал. Рассказывать ли дальше? Нужны ли ей сейчас подробности смерти мужа? Они и теперь вызывают в со-

знании Нестерова боль. А каково будет ей, Лиде? Не увеличатся ли ее мучения?

— Говори, пожалуйста, Миша, говори. Я перенесу. Ведь все-таки я врач и знаю, как умирают люди, хоть и в других условиях. — Голос ее прозвучал спокойно и требовательно. Нестеров взглянул ей в лицо. Бледные пятна растекались от подбородка к щекам, вытесняя розоватый оттенок к ушам, чуть прикрытым завитушками волос. Глаза ее, только что сиявшие приветливо и ласково, остановились на какой-то одной невидимой точке, и синева их стала жесткой и неподвижной. Нестеров понял: она готова выслушать любые подробности смерти мужа, ее ничто не выведет из этого состояния сосредоточенной замкнутости.

— Он был белый, весь какой-то алебастровый, когда я принял его от солдат на свои руки, — сказал Нестеров, решив про себя ничего не смягчать. — В ту же минуту я понял: он не жилец... Он совсем уже изошел кровью... Сквозное ранение... — Но Нестеров так и не смог рассказать ей обо всем том, что и до сих пор отчетливо виделось ему страшным видением: вспоротый живот, оттуда булькала какая-то липкая бурая жижа. — Он был без памяти. Крепко сомкнутые губы и ввалившиеся щеки сделали его лицо сердитым, отчаянно сердитым. Возможно, смерть старалась запечатлеть его самочувствие в последние минуты жизни: был миг — сознание вернулось к нему. Этот миг совпал с теми секундами, когда я подхватил его под плечи и, придерживая голову, прижал к себе.

Он вдруг открыл глаза и узнал меня. Он вскинул руку, желая, по-видимому, обнять меня, но рука не послушалась его. Она упала на грудь, залитую кровью. «Мишка, действуй, как договорились!» Это были последние слова, на какие у него хватило сил. Он обмяк, стал каменным, и я опустил его на землю. Солдаты раньше меня поняли, что это конец. Они скинули шапки, а я все еще не верил. Встал на колени, положил его голову на ладонь и долго звал его: «Степа, Степан! Стенька Разин, очнись!» Подошли санитары с носилками: «Зря вы его кличете, товарищ полковник. Не дозоветесь. Он уже в вечности. Оттуда не откликаются». Голос санитара послышался над моим ухом.

А когда бой закончился, мы похоронили его, как хо-

ронят воина,— салют, марш под оркестр, приспущенное знамя...

Нестеров умолк, потянулся в карман за папиросами, но, вытащив пачку, не решился закуривать без разрешения. Лида заметила его колебания, взмахнула ресницами, выдохнула вместе с болью, подпиравшей под горло:

— Кури, Миша!

— А ты знаешь, Лида, что скрывается под его фразой: «Мишка, действуй, как договорились»? — после жадной затяжки спросил Нестеров, обеспокоенно поглядывая на Лиду, которая сидела как оцепеневшая.

— Не знаю, Миша,— по-прежнему не шевелясь, сказала Лида.

— Разве он не присылал тебе «Клятву дружбы»? — Нестеров не мог скрыть недоверчивой нотки в голосе.— Мы договаривались. Он не мог не послать. Вспомни-ка! Это было давно. Мы еще воевали на нашей территории... Бои не утихали ни днем, ни ночью... И мы решили, как реалисты, правде смотреть в глаза...

— Не помню, Михаил Иваныч. Простите.— Она упорно не меняла позы и смотрела на него незрячими глазами.

«Опять величает, и на «вы»...— Он сделал вид, что не заметил ее оговорки.

— Странно... А между тем в «Клятве дружбы» были сказаны слова, важные для остающихся жить...

И вдруг она оживилась, безвольные руки, лежавшие на коленях, взлетели; глаза засверкали, и в них появилась усмешка:

— Вспомнила, Миша! Это было что-то необычное, в духе Степы, который любил изобретать разного рода трактаты, договоры, условия, уставы, положения... Ему бы быть не директором школы, а Цезарем. Прочитав тогда, я подумала: не были ли вы в подпитии? — Она тоненько и очень робко рассмеялась.

— Вот уж нет, Лида! — загорячился Нестеров, заполняя комнату клубами табачного дыма.— Все это было составлено всерьез и, как видишь, не шутки ради. Да и до шуток ли было нам? Послушай, что тут говорится.— Нестеров запустил руку в боковой карман пиджака и вытащил оттуда черный бумажник. Придерживая бумажник протезом, он извлек из него бережно сложенный вчетверо лист бумаги, развернул, разгладил ладонью по столу: —

«Если одному из нас придется погибнуть в битве с врагом, — приглушенным голосом, отчетливо произнося каждое слово, начал читать Нестеров, — то другой во имя нашей боевой дружбы никогда не забудет о своем долге перед памятью погибшего, перед будущим его родных и близких.

Кольцов Степан Тимофеевич (адрес постоянного места жительства: г. Приреченск, Больничный жилгородок, каменный корпус, квартира 37).

1. До конца дней своих будет помогать матери Нестерова М. И.

2. Как брат поможет Симе в устройстве ее жизни, а если у нее возникнет новая любовь, не только не будет чинить ей каких-либо препятствий, но отнесется к этому с пониманием, ответственностью и заботой старшего.

3. Соберет через редакции ученых изданий, архивы, музеи и научно-исследовательский институт истории и природоведения все публикации Нестерова М. И. и постарается осуществить их выпуск в собранном виде.

Нестеров Михаил Иванович (адрес постоянного места жительства: г. Томск, ул. Никольская, д. № 39, кв. 1).

1. Станет для Лиды опорой в устройстве ее жизни, а для Тимошки вторым отцом.

2. Если у Лиды возникнет новая любовь, не только не будет чинить Лиде каких-либо препятствий, но отнесется к этому с пониманием, ответственностью и заботой старшего.

3. Не пощадит ни сил, ни времени, чтобы исследовать историю экспедиции Тульчевского, и доведет результаты этой работы до возможного итога».

Нестеров с трудом дочитал до конца. С того вечера, когда они со Степаном составили эту записку, написанную в промежутке между кровопролитными боями, он ни разу не перечитывал ее, да еще вслух. Не возникало необходимости, не выпадал случай. Прочитав сейчас «Клятву дружбы», как они называли свою договоренность, он ужаснулся неумолимой жестокости жизни. На него пахнуло духом той неотвратимой расправы над человеческой судьбой, которую несла война каждому. «Повезло мне, а Степе не повезло. Иначе он бы заботился... о моих статьях... А вот заботиться о моих близких ему не пришлось бы», — подумал Нестеров.

Вероятно, и на Лиду чтение Нестеровым «Клятвы»

произвело другое впечатление, чем прежде. Тогда был жив Степа, была жива надежда на встречу и все будущее рисовалось с верой в счастливый исход этого испытания. А теперь? Лиде показалась неуместной ее усмешка и слова: «Не были ли вы в подпитии?» Она остро это почувствовала, и ей стыдно было посмотреть Нестерову в глаза. «Боже, как переместились понятия! Тогда в этой «Клятве» почудилось мне что-то мальчишеское, странное с точки зрения поступков двух мужчин, переваливших за тридцатилетний рубеж, а сейчас я вижу, как они были мужественны на войне, каким храбрым спокойствием обладали, если так любили нас, так заботились о нашем будущем, стоя у самой крайней черты жизни, лицом к лицу со смертью, таившейся в каждом мгновении... Нет, нет, для этого нужно было обладать сильной волей и неустрашимым сердцем... А я-то дуреха!.. Неужели Миша не обиделся на меня?»

Лида наконец взглянула на Нестерова. Крупные желваки выступили на щеках Михаила. Выбритый до синевы подбородок упрямо выпятился, глаза остановились, замерли, как неживые.

Вот таким, должно быть, неподступно сосредоточенным бывал в бою Нестеров.

— Прости, Миша. Только теперь мне понятно ваше со Степой благородство. Не все были такие.

— Все были такие, не считая подлецов, Лида. А подлецы не в счет. Не на них земля держится.

— Я сейчас подумала, Миша, как непросто, как, наверное, трудно было вот так распорядиться собой ради другого...

— Нет, Лида, не трудно, напротив: чувство святости владеет мной. Поверь. И знаю: окажись на моем месте Степа, он не отступил бы от своего слова ни на полшага... И не раздумывал бы: удобно ему это или неудобно, выгодно или невыгодно... Кощунственно даже думать об этом...

— И ты приехал... — Лида хотела сказать: «чтобы быть рядом со мной», но замолчала, подыскивая какие-то осторожные слова.

— Да. Я приехал в Приреченск совершенно сознательно, чтобы быть рядом с тобой и выполнить все, что обещал Степе.

Лида посмотрела в глаза Нестерову. Они светились

правдой. Как и в голосе его — спокойном, негромком, но твердом, так и в выражении карих добрых глаз с темными кружками зрачков, не чувствовалось никакой фальши. Ей захотелось схватить его руку с бело-розовыми пятнистыми следами ожогов и прижаться к ней губами. Каким же действительно прекрасным был ее муж Степан Кольцов, если он сумел найти среди миллионов людей друга, преданность которого беспредельна. Уж истинно сказано: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но она сдержала свое желание, услышав такое, от чего больно сжалось ее сердце:

— Только знай, Лида, взамен я ничего не потребую от тебя. Мне просто радостно отдать себя делу, которое завещал друг. Пойми, я одинок. Война отняла у Степы жизнь, а у меня веру в женщину, и, возможно, навсегда. Сима, о которой ты знаешь, не дождалась моего возвращения, она выгодно вышла замуж за человека здорового, преуспевающего в науке.

— Когда это случилось? — с участием спросила Лида.

— Два месяца тому назад. Я был уже на пути из Горького в Томск.

— А куда же она девала сестренку Ирину?

— Не ведаю. Но происшедшим доволен. Ясность во всем — вот мой девиз.

— А мама?

— А мама скончалась уже при мне. Дождалась меня и скончалась. Держалась только ожиданием. Разве можно, Лида, сравнить с чем-нибудь любовь матери?

И вдруг плечи Лиды, прикрытые черным платком, вздрогнули. Она вскинула руки, обхватила голову, повернулась лицом к нему и, давясь от рыданий, сотрясавших ее всю, поднялась, шатаясь.

— И у меня горе, Миша... Утонул Тимошка... Поплыл на рыбалку, и оба, с товарищем... — Нестеров отметил далеким отголоском сознания, каким необычным стало ее лицо, охваченное непередаваемым бессловесным мученичеством. Оно излучало что-то такое вечное и завораживающее, что Нестеров встал, как перед святыней.

Он вскинул глаза на портрет мальчика, с пихтовыми веточками, прибитыми над рамкой, перевел глаза на фотографию Степана и, боясь, что Лида упадет, обнял ее, крепко прижал к себе, судорожно глотая слюну. «А ведь тут в самом деле нужен старший», — подумал Нестеров.

— Самоварчик готов, Лида! — послышался голос. И тотчас дверь раскрылась и с самоваром в руках показалась седая, в старомодных просторных юбках и кофте с оборками мать Лиды.

Увидев дочь в объятиях незнакомого мужчины, мать попятилась, но по вздрагивающим плечам Лиды, по глазам Нестерова, не видящим, но устремленным к портретам Степана и Тимошки, поняла, что здесь не происходит ничего стыдного, и тяжело прошагала к столу, бережно установив на нем самовар, от которого густо наносило древесным углем и смолой.

5

И покатились деньки, как ручеек с горы...

Надвинулась затяжная сибирская осень. Дожди хлестали по окнам и крышам витыми длинными бичами. Ветер то пронзительно свистел, как Соловей-разбойник, то срывался откуда-то ошалевшими порывами, перевертывал ометы соломы и стога, вырывая драницы с крыш, подхватывая с земли опавшую и почерневшую от мокра листву. Вихревые столбы вкручивались в небо с натугой, как винты в древесину, подхватывая ввысь на своих упругих шпилях птиц, не успевших затаиться в корневищах и дуплах.

Зато зима легла смиренно, благостно. Двое суток без перерыва сыпал и сыпал снег, украшая землю, деревья, дома затейливыми узорами, да такими хитроумными, непохожими один на другой, что глаз не оторвешь. Потом, как посохом путник, стукнул о землю мороз. Засияло голубыми полотнищами небо, вылезло из-за туч негреющее солнце в стеклянном белом ободке.

Нестеров следил за этой мудрой игрой природы с жадностью человека, пять лет не замечавшего всего того покоряющего волшебства, которое окружает всех живущих на земле.

В проливные дожди, вечерами, Нестеров, накинув на плечи плащ, выходил на крыльцо своего дома и слушал, слушал шум ветра, всматривался в темное, непроглядное небо, отыскивая в просветах мерцающие звездочки, думал беззаботно обо всем на свете.

Временами эти минуты казались ему неправдоподобными. Да точно ли, что наступил мир? Неужели отпали

заботы о полке, о людях, о технике, о подготовке к новым боям?

Иногда какое-то внутреннее нетерпение просыпалось в нем и подталкивало в темноту: иди посмотри, хорошо ли укрыты бойцы, не осталось ли под дождем оружие, надежна ли круговая оборона, не притомились ли часовые — в такую непроглядь от них нужна особая зоркость. Каждый недогляд сейчас может обернуться выигрышем для противника...

Нестеров спохватывался. Оттого, что все это осталось позади, он испытывал легкость на душе. Даже по мускулам и суставам растекалось светлое ощущение жизни, новизны всего существующего.

По свежему снегу Нестеров исколесил все приреченские березники. Уходил и дальше — за реку, откуда начинались хвойные леса — сосна, ель, кедр, тянувшиеся к северу, к обским берегам на сотни верст. И всякий раз он убеждался, что до войны весь этот мир живой и неживой природы не постигался им с такой глубиной, как теперь, не рождал в нем того многообразия чувств, которое рождалось ныне. «А что же, может быть, это правда, когда говорят, что только человеку, побывавшему рядом со смертью, жизнь открывается всеми сторонами и свойствами», — думал Нестеров.

У Лиды он бывал часто. Приходил под вечер, стараясь помочь Меланье Антоновне — матери Лиды; таскал воду, приносил из дровяника березовые чурбачки для плиты, разжигал ее. В доме, построенном еще в сороковом году, когда-то были и водопровод, и паровое отопление. Но в годы войны все это пришло в упадок, и теперь жильцы перебивались каждый, как мог. Единственное, что уцелело, — электрическое освещение, но в двенадцать часов ночи свет выключали до шести утра.

Меланья Антоновна, смотревшая вначале на Нестерова с недоверием, вскоре убедилась, что ничего худого сделать он не хочет. Она часто рассказывала ему о Степане, о первых годах их совместной жизни с Лидой. Хвалила зятя за покладистый характер, хотя и отмечала, что был он не шибко хозяйственный, увлекался больше своими путешествиями, все время чертил какие-то карты и мечтал о дорогих находках, которые так и не отыскал. Иногда она принималась рассказывать о внуке, которого вырастила на своих руках, отдав ему все свои силы. Рас-

сказывая, Меланья Антоновна плакала, а Нестеров сидел, потупив глаза, не зная, как и чем утешить, и с нетерпением ждал прихода Лиды.

Лида приходила из больницы уставшая, с синеватыми кругами под глазами. Врачей не хватало, и ей приходилось работать за двоих. К тому же Лида была председателем месткома.

Она ждала встреч с Нестеровым, его посещения не тяготили ее. Напротив. Когда он не приходил, она впадала в уныние. Засыпала поздно, во сне ее мучили кошмары, и мать, заслышав ее крик в полусне, прибегала из другой комнаты в тревожном смятении.

В осенние вечера о многом переговорили Нестеров с Лидой, многих тем коснулись. Были перечитаны две связки писем Степана. Нестеров слушал их и будто заново переживал все происходившее за те четыре года. Степан писал письма короткие, на длинные просто не хватало времени, но почти в каждом из них он что-нибудь сообщал о командире полка, «моем Чапае», как в шутку называл он Нестерова.

Письма Степана чем-то напоминали донесения с места событий, может быть, потому, что пестрели важными подробностями: «Бесноватый бомбит нас вторые сутки. Гудит земля. Спасибо ей, матушке родной, — она хорошо укрывает нас», «Бесноватый зажал нас в клещи и молотит и день и ночь», «Опять та же картина: Бесноватый не дает поднять головы...»

Но вот переломился ход войны, и появились в письмах иные подробности: «Бесноватый огрызается, а уж не тот», «Улепетывает Бесноватый», «Бежит Бесноватый, оставляя нам и технику и своих раненых», «Сегодня Бесноватый поднял белый флаг. Допекло!»

Некоторые письма Нестеров комментировал, а иные вызывали в нем запоздалое удивление. «Неужели все это я пережил? Да откуда же у меня взялось столько сил?!» — думал он о себе, как о постороннем.

Общаясь с Лидой, наблюдая за ней, слушая ее суждения, Нестеров постепенно, без спешки, составлял свое мнение и о самой Лиде. «Хорошая женщина, серьезная. И кажется, красивая по-настоящему: какие у нее глаза — серые, даже синеватые, и такие добрые, ласковые», — думал Нестеров.

Встречи Нестерова с Лидой прервались внезапно: в

начале зимы поступило указание из облздравотдела, в котором предписывалось направить Лидию Петровну Кольцову в Новосибирск на специализированные курсы усовершенствования врачей сроком на шесть месяцев. Нестеров порадовался за Лиду: ничто другое так не могло помочь ей, как смена обстановки, новые знакомства с людьми.

6

Как только Лида уехала, Нестеров с ее согласия перевез к себе два ящика с бумагами Степана и приступил к их разборке. Пора было начинать поиски следов экспедиции Тульчевского. Степан утверждал, что в его бумагах он найдет некоторые наводящие сведения.

Зима выдалась снежной, ветреной. Бураны намели на улицах Приреченска сугробы чуть не вровень с крышами домов. Березы, черемуховые и рябиновые кусты в палисадниках и в городском парке купались в снегу, как в вешний разлив. Ребятишки, вооруженные лопатами, сооружали в сугробах бастионы, прорывали потайные ходы, выкладывали из снеговых кирпичей брустверы и вели затяжные бои, временами с криком «Ура! Смерть фашистам!» бросались в лобовые атаки на «противника».

Нестеров выходил на прогулку, с улыбкой наблюдал за этими схватками, думал: «Въелась война в быт, пронизала все поры нашего уклада. И долго еще будет о себе напоминать. И пусть! Чем дольше люди будут помнить о страданиях, причиненных войной, тем яростнее будут бороться против подготовки новых побоищ».

Работа с бумагами Степана требовала большой тщательности, так как все у него было свалено в одну кучу. Приходилось прочитывать каждую запись, брать в руки каждый листок, особо внимательно просматривать карты и чертежи, которых было очень много. Систематизации никакой.

В одной и той же тетради Нестеров встречал записи фольклорных песен времен гражданской войны и наблюдений за режимом Черной речки, или шли столбцы температурных таблиц с Кедровой горы и тут же описание и зарисовка промоины на полях колхоза «Заветы Ильича». Нестеров по прежнему опыту знал: искомое никогда не попадет в руки сразу, оно будет где-то таиться тут же,

ускользать, и только терпение и прилежность приведут исследователя к цели.

День ото дня вчитываясь в бумаги Степана, Нестеров не мог не заметить, какой широтой интересов обладал его друг. В тетрадях, записных книжках и просто на отдельных листках содержались данные по истории края, этнографии, экономике, ботанике, геологии, археологии, зоологии, метеорологии, медицине, ветеринарии, географии.

Вероятно, для специалистов большую ценность представляли тетради, которые Степан назвал: «Приреченские говоры». Это был не просто свод слов и терминов с обозначением фонетических особенностей и с объяснением влияний других языков, находившихся в живом соседстве и общении. Вникая в этот труд Степана, Нестеров убедился, что в языковедении познания друга были просто обширными. Степан легко ссылался на заимствования из эвенкийского, хантыйского, кетского, татарского, шорского, алтайского языков. Значит, и об этих языках он имел широкое понятие.

«И когда он только успел все сделать? Был старше меня на год. Следовательно, ушел на войну тридцати лет от роду... Большого и талантливого ученого отняли у нас проклятые фашисты!» — думал Нестеров.

Всю зиму занимался Нестеров поисками сведений об экспедиции Тульчевского, но пока безрезультатно. Отрывался на короткое время — проведал Меланью Антоновну, ходил в военкомат, на продпункт и за пенсионными деньгами, и один день провел на собрании партактива. Пригласил райком. Велась речь о подготовке к весенне-полевой кампании.

Он так был захвачен своей работой, что и тут, вне дома, продолжал раздумывать: где же искать еще? Первый ящик уже был разобран, и во втором оставалась непросмотренной небольшая связка бумаг. На нее он почему-то совсем не надеялся.

Нестеров зачастил к Меланье Антоновне с одной и той же просьбой: поискать, нет ли в доме других бумаг Степана, не завалялись ли случаем где-нибудь в неожиданном месте?

Однажды Меланья Антоновна подала ему стопку ученических тетрадей, перевязанных шпагатом, которую она нашла в столе у Лиды. Нестеров принял стопку, чувствуя, что пальцы его дрожат, и заспешил домой. Интуитивно

он поверил в удачу — и не ошибся. Среди тетрадей с ученическими сочинениями «Наш край», которые, видимо, поэтому Степан и счел возможным объединить и сберечь, лежала точно такая же тетрадка, на обложке которой его рукой было написано: «Экспедиция Тульчевского».

Нестеров присел поближе к окну. Снежная пороша, заполонившая приреченские просторы, пригасила свет дня, обласкавшего с утра землю лучами солнца.

Заныло от худых предчувствий сердце Нестерова: из всей тетради лишь на первых двух страничках записи химическим карандашом. Остальные чистые, как небо! Судя по этому, не сильно много данных было у Степана об экспедиции Тульчевского!

Затаив дыхание, Нестеров принялся читать:

«В 1913 году в наши пределы прибыла экспедиция инженера Тульчевского (по некоторым данным, имя: Стефан). Она была хорошо оснащена, о чем говорит такой факт: инструмент располагался на пяти телегах. В составе экспедиции были два техника (кроме самого инженера), семь рабочих с поисковым опытом.

Телеги и кони как будто были казенными. Частный извоз не располагал телегами и дугами с клеймами железнодорожного ведомства. (Паровоз и сверху знак икс из двух молотков).

Экспедиция продвинулась к заимке Савкина, тут погрузились на плот и сплавились (без коней и телег) к Песчаной Гриве.

Здесь, на берегах реки и несколько глубже в тайгу, а именно у Прорвинского озера, она произвела пробы.

Результаты проб оказались высокими: золотой песок и мелкие самородки. Местность от Прорвинского озера к реке и ниже, до Большой протоки, была нанесена на карты и оконтурена вехами с дощечками «Прииск Тульчевского». В трех-четырех верстах по Большой протоке было установлено месторождение киновари и также вбито несколько вех с досками: «Рудник Тульчевского». Месторождение ртути оказалось вполне продуктивным.

Экспедиция проработала до осени и вернулась в город. Все ее пребывание было окутано тайной. Единственный местный человек, взятый в экспедицию, был охотник с заимки Савкина по фамилии Попов (имя не то Федот, не то Федор). Он был проводником. Ему хорошо заплатили и велели молчать.

В 1914 году из Харбина (почему же из Харбина?) в адрес экспедиции Тульчевского был отгружен паровик. Вероятно, с той целью, чтобы качать воду для промывки пород (мое предположение).

С лета 1914 года прииск и, возможно, рудник должны были начать действовать.

Но в связи с войной, призывом самого Тульчевского в армию для выполнения каких-то специальных строительных работ (предположительно от меня: строительство Мурманской железной дороги?) дело было предано забвению.

Ни в годы первой мировой войны, ни в наступившие советские годы начинание Тульчевского не получило развития. Пригасли даже слухи среди местного населения о приезде экспедиции Тульчевского. Все кануло в безвестность.

(Сведения записаны мною в сентябре 1940 года от заведующего Пихтовской школой Ивана Алексеевича Перевалова, который получил их от жителей заимки Савкина. От кого именно — не помнит.)».

Далее, на отдельной страничке был чертеж наиболее краткого пути от Приреченска до Песчаной Гривы. Над линией, соединяющей кружочки, стояли пометки в километрах: «Приреченск — Пихтовка — 60 км, Пихтовка — заимка Савкина — 15 км (приблизительно), Песчаная Грива — Прорвинское озеро — 5—7 км, Прорвинское озеро — Большая Протока — 5 км».

Перечитав запись Степана и раз и два и прикинув местоположение рудника и прииска Тульчевского на карте области, Нестеров понял, почему Кольцов так много говорил об экспедиции. Появление в этом районе промышленных предприятий могло вдохнуть жизнь в Приреченские таежные просторы, изменить облик отдаленного края.

Трудно, с упорством отступала зима. По ночам от морозов земля одевалась в льдистую, хрусткую корку. Леса покрывались куржаком. При свете месяца искрились, переливались то серебром, то золотом. Проступившая вода на реке настывала у берегов надолбами, выворачивая со дна карчи и валежины.

Зато с восходом солнца оживали схваченные стужей ручьи, оседали, теряли свою суровую неподвижность сне-

говые горы. Проталины на возвышенностях весело чернели, оттесняя в лога и буераки ноздреватый снег, с каждым днем расширяли свои границы.

Нестеров ждал весну и с нетерпением и с затаенным беспокойством.

7

Много Нестеров знал живописных мест в Сибири, но, завидев из кузова грузовика Пихтовку, не сдержал восторга.

— Гляди-ка, как они знаменито поселились! — сказал он трем мужикам-попутчикам, ехавшим с этой же машиной леспромхоза еще дальше, на самую крайнюю лесосеку.

Двое мужиков сумрачно отмолчались, а третий равнодушно проронил:

— Ладно поселились. Видать, паря, первый поселенец скус к пригожим местам имел.

Пихтовка стояла в один ряд на покатом берегу озера, изогнутого подковой и могуче раздвинувшего лес по меньшей мере километров на пять. Под окнами домов плескалась с шумом волна, а за дворами деревню сторожил кудрявый, стоявший в невозмутимом спокойствии и богатырской задумчивости кедровник.

За озером маняще синели луга, убегавшие куда-то далеко-далеко, за самый горизонт.

Нестеров выпрыгнул из кузова, надел на плечи вещевой мешок, винчестер и зашагал к деревне.

Дойдя до первого двора, он остановился возле бревенчатого сруба, стоявшего напротив дома, присел на сутунки и решил понаблюдать и покурить.

Широкая улица деревни покрылась светлой изумрудно-зеленой травой. Распустился лист на березах, на кустах малины и смородины в палисадниках. На улице, которая хотя и была немного изогнутой, но просматривалась из конца в конец, — ни души. Не видно и собак, не бродят и телята со свиньями. «Будто от немцев ушли», — подумал Нестеров.

Близился вечер. Солнце закатывалось на лугах. Но оно еще не опустилось за горизонт, висело над его чертой. Оттуда, из-за озера, падали на дома багровые пятна, ок-

на жарко пылали, отражая лучи солнца, и казалось, что там, внутри домов, бушует пожар.

«Ну что ж, пойду искать сельсовет или контору колхоза». — Нестеров встал, по привычке расправил под ремнем гимнастерку, подтянул голенища сапог, стряхнул мусор с брюк, поправил на голове фуражку.

Он шел не спеша, приглядывался к домам, ища глазами вывеску или какое-нибудь иное обозначение.

Почти все дома были одинаковыми — пятистенки, крытые тесом, с узорными наличниками, тремя окнами. Дворы отделялись друг от друга заборами и были крытыми. Два дома подряд стояли нежилыми. Поверх ставней крест-накрест были доски.

Деревня, по-видимому, строилась в одно время. Дома, хотя и почернели, подернулись по крышам прозеленью, но были еще крепкими, без гнилушек, без осевших углов и разваленных труб.

Нестеров был уже на середине деревни, когда увидел большой крестовый дом, метров на пятьдесят сдвинутый от линии улицы ближе к кедровнику. Дом был с парадным крыльцом, светлыми окнами. Сразу за домом, вразброс, стояли четыре амбара, каждый на прочных стойках из лиственницы, с навесами над дверями под замками. Двора никакого не было. Поляна преграждалась кедрами. Сбоку от крыльца, между окон, на доме потускневшая, со следами проступившей ржавчины вывеска из крашеной жести: «Правление пихтовского колхоза «Путь Ленина». Перед домом трибуна из бревен и досок, с красной звездой, выпиленной из плахи и покрашенной ядовито-малиновой краской.

Нестеров свернул с улицы: «А вот то, что мне надо», — подумал он, передергивая плечами под тяжестью вещевого мешка.

Дверь в доме с визгом открылась, и на крыльцо вышла женщина в длинной синей юбке, белой кофте с напуском и белом платке, повязанном клином. Она спустилась на несколько ступенек, рассматривая Нестерова, стараясь узнать его, на мгновение остановилась и вдруг кинулась назад с криком:

— Евдокея! Дуня! Пришел чей-то!..

До сердца пронзил Нестерова этот возглас, в котором

почудилась и надежда и радость. «Все еще ждут, а ждать, пожалуй, уже поздно»,— подумал Нестеров с грустью и сбавил шаг. В ту же минуту створки окна распахнулись, и Нестеров увидел за горшками цветов два женских лица, на которых он заметил лишь глаза, полные жгучего любопытства и ожидания.

Едва он, раскрыв дверь, вошел в чистую, недавно покрашенную охрой комнату, заставленную простыми столами и скамейками, как дверь второй комнаты распахнулась, и через высокий порог навстречу ему шагнула молодая женщина, черноволосая, с огромными черными глазами, смуглая от загара, с обнаженными до плеч большими руками, в тесном платье, обтягивающем ее высокую грудь и сильные бедра. Сделала всего лишь два-три шага, а Нестеров заметил, что ступает легко, что все ее гибкое, натренированное тело тугое, как у завзятой спортсменки. Женщина не стала ждать, когда Нестеров представится, она заговорила сама четким, громким голосом, привыкшим давать распоряжения, откровенно и внимательно осматривая его:

— Кто будете, товарищ? Военный, демобилизованный, или уполномоченный, или просто командированный? Надолго ли к нам? — И, не дожидаясь, когда он ответит на ее вопросы, добавила серьезно и даже с какими-то строгими нотками в голосе: — А я председатель колхоза Евдокия Трофимовна Калинкина. Проходите сюда, садитесь, побеседуем.

Она повернулась, вошла в комнату, из которой только что вышла, и плавным жестом пригласила Нестерова проследовать за ней. Тут она привычно села на свое обычное место за столом, в грубоватое деревянное кресло, и вновь строго, но терпимо посмотрела на гостя, который, сбросив с плеч винчестер и вещевой мешок, пристраивал все это в углу председательского кабинета.

— Вот теперь здравствуйте, — садясь на табурет напротив Калинкиной и как-то смущаясь под ее пристальным взглядом, сказал Нестеров. Через стол она подала ему свою сухую, жесткую руку и по-мужски крепко пожала ему руку. — В недалеком прошлом полковник Нестеров Михаил Иванович, ныне житель Приреченска. Занят сейчас научной работой: восстанавливаю фактическую сторону одной забытой истории, — начал Нестеров, чувствуя на себе взгляд ее строгих огромных глаз. — Впрочем,

есть у меня к вам письмецо от райвоенкома майора Фролова. Он просит оказать мне кое в чем содействие...

— Ну-ка, давайте посмотрим.

Нестеров достал из кармана гимнастерки конверт, подал Калинкиной.

Пока Калинкина читала письмо райвоенкома, Нестеров украдкой рассматривал ее, чувствуя, что с каждой секундой ему все труднее становится отрывать взгляд от необыкновенно красивого лица женщины. «Вот бы такую на «Мосфильм», — мелькнуло в голове Нестерова. — Какие крутые, резкие брови у нее, а губы мягкие, рот какой. И подбородок сильный, как у Моны Лизы... А лоб мыслительницы — открытый и характерный... Овал лица и шея — гордячки, а что-то смягчает их... Должно быть, эта детская наивность чуть припухлых щек... Откуда она тут взялась? И сколько же ей лет? Двадцать пять, от силы двадцать семь»,— думал Нестеров, подчиняясь невольному течению своих мыслей и не в силах думать сейчас о другом.

— Письмо длинное, сумбурное: просим содействия, просим содействия... Заладил Фролов... А в чем суть вопроса? Где начало? А самое главное, в чем цель всего вашего дела? — откладывая письмо майора Фролова в сторону, спросила Калинкина.

Нестеров обратил внимание на то, как она это сказала: слова ясные, точные и прямые, прямее некуда, а тон простой, доброжелательный и, более того, заинтересованный. «Деловой человек. Сразу хочет взять быка за рога. Видно, обучила нужда уберегаться от пустых слов», — переносясь мысленно от внешности Калинкиной к манере ее суждений, подумал Нестеров.

— Всего в бумаге не напишешь. Тем более при бумаге живой человек. Расскажет, что к чему, — сказал Нестеров, смягчая приговор, который вынесла Калинкина письму военкома.

— Это вернее и надежнее. С этого и начнем. — Калинкина вдруг так весело рассмеялась, что от ее строгости и помина не осталось. Лицо ее стало еще восхитительнее, потому что и в огромных глазах, и на щеках, и на губах изящного рта появилась лукавинка, за которой угадывалось буйство, сила, удаль молодости, таившиеся в ее натуре. «Ой-ой!» — только и сказал себе Нестеров.

— У вас тут до войны жил учитель, заведующий шко-

лой, — проговорил Нестеров, дивясь про себя стремительной смене выражения лица Калинкиной. Только что весело смеялась, напомнив ему озорную девчонку, и вот уже снова строга и недоступна. — Фамилия его была Перевалов Иван Алексеевич. Вы не скажете, остался кто-нибудь из его семьи?

— Остался.

— Кто же?

— Я осталась.

— А вы кто ему?

— Была жена. А после Сталинграда — вдова.

— Вон как!

— Да, вот так.

8

Солнце катилось по горизонту, превращая на мгновения воду в озере в литое золото, стекла в парнике — в пылающий костер, макушки кедров — в красно-медные купола соборов. Заглянуло оно и сюда, в колхозную контору. Вот в распахнутое окно хлынул багряный свет, облил аккуратно прибранную в тугую прическу на затылке голову Калинкиной, ударил в глаза Нестерову, высветил все его ранние морщинки на круглом лице, нажитые на фронте, коснулся темно-русых волос с легкой召 сединкой на висках, пронзил, не пощадив перед ней, перед Калинкиной, и того несовершенства, которое было у левого уха, — осколком снаряда верхняя его кромка была вырвана, и краснота, образовавшаяся на раковине, никак не проходила.

Солнце скользнуло по железу председательского сейфа, по глянцевым рамкам портретов и, стремглав прыгнув к потолку, к пузатой висячей лампе, тихо, дрожа лучиками, загасло.

Через полчаса на деревню пополз из кедровника прохладный сумрак. Улица ожила. Прошло стадо со звоном боталов, со щелканьем пастухова бича, с топотом копыт, с мычанием. Потянуло запахом парного молока, травы, навоза.

Нестеров рассказал Калинкиной о Степане Кольцове, о знакомстве того с ее мужем, учителем Переваловым, о завещании Степана отыскать следы экспедиции Тульчевского и двинуть дело дальше. Родине, разоренной фаши-

стами, позарез требуются и золото и ртуть. А вдруг вся история экспедиции не легенда, а факт?

Калинкина выслушала Нестерова, боясь пошевелиться. Так все было для нее неожиданно, интересно, ново, огромные глаза ее вспыхивали, как зарницы на вечерней зорьке, и Нестеров чувствовал, что Калинкину захватывают какие-то свои размышления.

— Евдокея! Дуня! Там из второй бригады бабы пришли, — заглянув в полураскрытую дверь председательского кабинета, сказала женщина в белом платке, которую Нестеров встретил возле крыльца.

— Ну-ка, тетя Груша, закрой покрепче дверь, — сердито огрызнулась Калинкина и погрозила женщине своим увесистым, не женским кулаком. — Подождут твои бабы.

Дверь взвизгнула и плотно захлопнулась.

— А ваш муж никогда не рассказывал вам об экспедиции Тульчевского? — спросил Нестеров.

Грустно усмехнулась Калинкина, настолько грустно, что вздрогнули ее красивые, нежные губы и печаль пригасила глаза.

— А когда он мог рассказать, Михаил Иваныч? Сами посудите... Мы прожили с ним как муж и жена меньше суток. Вечером в субботу 21 июня была свадьба. До рассвета гуляли. В двенадцать дня по-московски, а по нашему времени — в четыре пришла эта черная весть. В шесть повезли наших мужиков в военкомат. А до этого с Ваней мы были знакомы только три месяца. Он здесь жил до меня года два. Я приехала сюда сразу после института агрономом на семенной участок. Ну, познакомились, вскоре поженились, а пожить вместе не удалось... А когда женихались... не помню, нет, не помню, разговоров об этой экспедиции не забыла бы...

— И давно вы председательствуете в колхозе? — поинтересовался Нестеров, желая отвлечь Калинкину от горьких воспоминаний.

— В начале сорок второго года выбрали меня. Старый председатель ушел на фронт, а я уже к тому времени вошла в курс дела. Да и кого другого изберешь, если остались в Пихтовке одни бабы да ребятишки... Бабий у нас колхоз, Михаил Иваныч. В деревне шестьдесят семь дворов, а вдов сорок семь... Полегли наши мужики почти все под Сталинградом. И Ваня там же. Взвыла я, кусала себе руки... А потом смотрю на других женщин и вижу: мое го-

ре полегче, чем у других,— к мужу не привыкла; детей завести не успела... Кругом одна... И такая меня злоба взяла на этого зверюгу Гитлера, думаю: пусть, гад, знает русскую бабу, ее только растревожь, она и за себя и за мужика сработает. Ну и жила вот так: себе пощады не давала и других не щадила. Продержались, Михаил Иваныч, всю войну. Сами жили не до жиру, хотя и от голода никто не умер, а фронту давали и хлеб, и мясо, и масло, и овчины. Рыбой вон из озера госпиталям в Приреченске помогали. Все выполняли, что государство требовало... Все, до капельки. — Калинкина удовлетворенно хлопнула широкой ладонью по столу, будто точку в разговоре поставила. Замолчала.

— И что вы думаете, Евдокия Трофимовна, относительно истории, которую я вам рассказал? — видя, что молчание затягивается, что Калинкина разбередила свою душу, и желая вернуть их беседу к основной теме, спросил Нестеров.

— Что же тут думать? Дума одна: необходимо подсобить вам. Подсобим, Михаил Иваныч. Сегодня вечером свой совнарком соберем, посоветуюсь,— улыбнулась Калинкина.

— Какой совнарком? — не понял Нестеров.

— Наш, сельский: председатель сельсовета, секретарь парторганизации, председатель сельпо, секретарь комсомола. И учтите — все бабы,— вновь улыбнулась Калинкина, и опять грусть тронула ее губы. — Извините, пойду посмотрю, что там случилось.

Калинкина вышла из кабинета легкой походкой спортсменки, и в ту же минуту из-за двери донесся до Нестерова ее громкий голос:

— Ну-ка, Наталья рассказывай. И покороче, без предисловий. У меня там гость: фронтовик, полковник.

— Навсегда приехал?! — спросил звонкий женский голос.

— Так уж и нужны мы ему,— ответила Калинкина, и голоса женщин, удаляясь, смолкли.

«Ой, Евдокия Трофимовна, не надо дешево ценить себя»,— подумал Нестеров, глядя на пустое кресло Калинкиной и живо воображая весь ее облик, поразивший его.

9

Ужинали у Калинкиной дома. Подавала на стол все та же тетя Груша — женщина в белом платке. Были жареные

караси, соленые грузди со сметаной, сохранившие с осени и цвет и запах, мед, малиновое варенье, пахучий пшеничный хлеб, нарезанный остроконечными ломтями. Нестеров попытался дотронуться до своего вещевого мешка, собираясь достать консервы, внести, как говорится, свою долю в ужин, но Калинкина замахала на него большими руками, слегка прищурив глаза, громко и резко сказала:

— И не стыдно вам, Михаил Иваныч? Или вы забыли наше русское хлебосольство?

Нестеров смущенно пробормотал:

— Ну, как знаете. От души хотел...

Калинкина, сделав вид, что не заметила смущения гостя, торопливо убежала в горницу и сейчас же вернулась с портретом мужа.

— Вот он какой был, Перевалов Иван Алексеевич,— подавая Нестерову портрет в деревянной рамке под стеклом, сказала она, не сводя глаз с Нестерова, пытаясь заметить, какое впечатление произведет на него Перевалов.

— Славный молодчага! Кудрявый. И, видать, голубоглазый был,— сказал Нестеров, про себя подумав: «До тебя, Евдокиюшка, далеко ему, как до неба».

— А все ж таки, Михал Ваныч, Дуня во много раз красивше его. И тогда, а хоть бы и теперь,— гремя посудой, проговорила женщина в белом платке.

— Будет тебе, тетя Груша, конфузить-то меня! — беззлобно воскликнула Калинкина, мимолетно взглянула на Нестерова и чуть склонила голову, как бы в ожидании его слов.

— Согласен с вами, согласен. Хорош Перевалов, а... Евдокия Трофимовна...— Нестеров примолк, помычал, выпалил: — Слов нет, как хороша!..

Калинкина зарделась, глаза ее запылали, строгое лицо вдруг сделалось счастливым и ласковым. Она старалась сдержать улыбку и не смогла. Вся пылая от горячей волны, которая опалила ее, она соединила свои широкие ладони, растопырила пальцы и уткнулась в них лицом.

Нестеров не ожидал, что его слова вызовут в ней такой сильный отзвук. «Отвыкла здесь, в тайге, среди баб, от мужских похвал»,— отметил про себя Нестеров и, желая помочь Калинкиной скорее вернуться в прежнее состояние, спросил:

— А вашего портрета, Евдокия Трофимовна, нет? Того же, разумеется, времени?

— Есть, Михал Ваныч, есть. Вот уж где раскрасавица-то,— вместо Калинкиной ответила тетя Груша и пошла в горницу.

— Весь альбом принеси, тетя Груша,— вдогонку ей сказала Калинкина и отняла руки от раскрасневшегося лица, ставшего совсем юным, девичьим.

Пока ужинали, не спеша пролистали весь альбом. Калинкина изредка лишь поясняла:

— Это я после окончания школы... А это на первом курсе... А это на третьем... Тут я на соревнованиях по плаванию... А это наша группа после получения дипломов... И вот мы с Ваней.. Вскоре после моего приезда в Пихтовку... Ну а портрет... за неделю до свадьбы... Разве я тогда знала, что так все обернется?

Громкий голос Калинкиной впервые дрогнул, в огромных глазах показались слезы, и она с трудом сдержалась, чтобы не разрыдаться. Этот необычный вечер, этот разговор с малознакомым человеком размягчили ее душу, отодвинули куда-то вдаль все заботы, которые поглощали и время и силы без всякого остатка и к концу дня сваливали ее с ног для короткого и безмятежного сна.

Когда ужин был закончен, альбом просмотрен, а посуда со стола собрана и перемыта, Калинкина сказала:

— Значит, так, Михаил Иваныч: ложитесь спать. Кровать в горнице. У меня еще дел полно в конторе: во второй бригаде два мешка семян украли, не то свои, не то приезжий прихватил. Появимся мы с тетей Грушей утром. Не вставайте рано. Вам спешить некуда... Дверь я захлопну, но она открывается отсюда. Ключ у нас есть.

Через несколько минут Калинкина и тетя Груша ушли. Нестеров перенес керосиновую лампу в горницу, осмотрел ее простое убранство, состоявшее из шифоньера с зеркалом, круглого стола, пяти стульев, книжных полок в простенке, забитых книгами, железной широкой кровати с никелированными шарами у изголовья и пышными квадратными подушками.

Нестеров погасил свет, лег в постель, но уснуть долго не мог. В окно заглядывал месяц, перемигивались звезды, слегка позвенькивали о стекло качавшиеся от ветерка ветки палисадника. «Вот тут, видно, на этой кровати и началась и кончилась ее супружеская жизнь»,— думал он, вспоминая весь свой разговор с Калинкиной.

10

Утром Калинкина сообщила Нестерову решение «совнаркома»: вместе с ним на заимку Савкина поедет она. В путь отправятся завтра рано утром верхами на колхозных конях. Других дорог нет, кроме реки. Но на лодке по ней дальше в пять раз. Можно было бы выехать и сегодня, однако вторая бригада только к вечеру закончит сев пшеницы, а она сама должна проконтролировать качество произведенных работ. Чтобы день Нестеров не скучал, на крыльце удочки, черви в банке. На озере под тальниковыми кустами бывает хороший клев. Берутся и окуни, и чебаки, и щуки.

Вечером в том же составе — Калинкина, тетя Груша и он — ели уху из свежей рыбы, добытой Нестеровым. Переночевал он в той же комнате, на той же широкой кровати.

А на рассвете в комнату тихо вошла Калинкина. Нестеров уже проснулся и слышал ее легкие шаги. Она с минуту стояла, прислушиваясь, потом вздохнула и почему-то шепотом позвала его:

— Михаил Иваныч! Вставайте! День будет жаркий, проехать бы побольше по холодку.

Он помолчал, притворно зевнул, посматривая на нее сквозь прищуренные веки, удивился, как она хороша в белом просторном платьишке, на босу ногу, с прекрасными черными волосами, не собранными еще на затылке, сонно сказал:

— Встаю, Дуня... встаю, Евдокия свет Трофимовна.

Ему захотелось прибавить к своим словам какие-то более нежные слова, вроде: «Встаю, ненаглядная Дуня»,— но в последний момент он придержал их. Поднявшись с подушки и помахав перед собой здоровой рукой, он сказал о другом:

— Вот отрываешься, Евдокия Трофимовна, от своих дел. А ведь в колхозе наверняка работы невпроворот.

— Ну как быть-то? Фролов просит подсобить, вас без провожатого не отправишь... А вдруг зачин-то ваш стоящий... Если не помочь, что потом люди скажут? Ну-ка, мол, дайте посмотреть на эту идиотку, которая председателем была, а дальше своего носа не видела!..— Она засмеялась и деловито закончила: — Вставайте, завтрак на столе, мешкать нет резона, Михаил Иваныч.

И вот они в пути. Впереди в седле на гнедом жеребчике Калинкина. К седлу приторочен мешок с провизией, свернутая в трубку брезентовая палатка, топор в чехле, закопченный котелок.

Черная голова Калинкиной прикрыта голубым платком, свободная кофточка из ситчика в крапинку, синие просторные шаровары, вправленные в сапоги, пузырятся и полощутся от резвого ветерка, покачивается ствол ружья, перекинутого на ремне через спину.

Нестеров на низкорослом сером мерине. Чуть приотстав от Калинкиной, он видит ее смуглое лицо, глаза, искрящиеся весельем, потому что она то и дело оборачивается и смотрит на него и вопросительно и насмешливо. Нестеров в ответ поблескивает белыми зубами, здоровой рукой размахивает концом ременного поводка, вспоминает Некрасова:

Есть женщины в русских селеньях...
...В беде — не сробеет — спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Километров десять ехали по извилистому проселку, петлявшему с косогора на косогор, заросшему белоствольным березником. Ехать было легко. Кони еще не устали, ноги в седлах не затекли. Ветки берез, разделенных дорогой, не грозили распороть щеки или выколоть глаза. Нестеров чувствовал, что все его внутренние струны поют. В шуме молодой листвы ему порой слышался даже какой-то протяжный звон, мелодия которого была, правда, неуловима, как далекое эхо, наносимое порывами ветра. Состояние Нестерова можно было понять: он приближался к цели своего поиска.

Вскоре, однако, дорога переменилась. Калинкина свернула с проселка на тропу, и тут произошло с ней чудо: она исчезла с его глаз, будто провалилась в бездну. Нестеров невольно натянул поводья узды, приостановил своего коня. Конь почуял неуверенность седока, ступил с тропы влево, потом вправо и остановился. «Зря я его сбиваю. Пусть себе идет по следу первого коня»,— подумал Нестеров и опустил поводья. Конь понял, что от него хочет седок, и медленно зашагал вперед, вползая в густой пихтач, который скрыл и коня и самого Нестерова с головой. Пихтач был мягкий, шелковистый, и ветки, скользя по лицу, по рукам, по ногам Нестерова, не оставляли никаких ца-

рапин, заполняя лишь воздух, которым дышали и люди и кони, густым до щекота в ноздрях настоем смолы.

За пихтачом начиналось болото. Кони шли между кочек, под копытами чавкала жижа. От круглых промоин, заполненных водой, коряжником, прошлогодним бурьяном, наносило гнилью. Кони отфыркивались, вскидывали головами, спешно перебирали ногами, чуя приближение суши.

— Евдокия Трофимовна, — обеспокоенно крикнул Нестеров, — мы тут куда-нибудь в трясину не попадем?

Калинкина оглянулась, махнула рукой, не переставая светить насмешливыми глазами.

— Пошевеливай, Михаил Иваныч, не останавливайся. Топь, холера ее забери! Чтобы не затянула коней!

Вскоре болото кончилось. Кони вспотели, тяжело поводили боками, но, почуяв под собой твердую землю, пошли веселее. Едва заметная тропа протянулась через гать. На обширном пространстве крупный лес когда-то повыгорел, и сквозь зелень вновь поднимавшейся сосновой молоди проглядывали рыжие, ничем не заросшие плешины.

Малорослый конь Нестерова то и дело спотыкался, цепляясь копытами за скрытые в малиннике колоды. В одном месте Нестерова так подбросило, что он выскочил из седла, схватился за гриву своего меринка и с трудом удержался.

Вид этой обширной поляны с остатками сгоревшего леса, с черными пеньками, вывороченными корневищами, с торчавшими из бурьяна сучьями, похожими на стволы орудий, напомнил Нестерову поле сражения.

— Смотри-ка, Евдокия Трофимовна, как после артналета, — сказал он, приближаясь к Калинкиной.

Она закивала головой.

— Потерпи, чуток, Михаил Иваныч, скоро приедем, — сказала она, вероятно, не поняв его слов до конца.

Нестеров как-то не очень поверил ей, хотя она и убеждала, что проведет его к заимке Савкина самой прямой дорогой. И действительно, примерно через полчаса гарь кончилась и началось пестрое разнолесье: береза, рябина, черемуха в белом цвету, акация в желтых побегах, ельник, опутанный сетями пауков.

Вдруг сквозь лес зеркально блеснула река. Прохладный ветерок дунул в лицо Нестерову, донес до него запахи жилья и лай собак.

— Ну вот и заимка Савкина, — сказала Калинкина и, сбросив стремена, перекинула ногу через седло и села по-бабьи, обеими ногами в одну сторону.

«Ну-ну, посмотрим, что она мне скажет, эта заимка Савкина», — подумал Нестеров, чувствуя, что где-то под ложечкой заныло нудно и остро, точь-в-точь как бывало перед боем.

11

На заимке стояло три избы. Одна из них была старая-престарая, уже не пригодная к проживанию в ней. Она-то и принадлежала когда-то охотнику Попову Федоту или Федору, который был проводником экспедиции Тульчевского к Песчаной Гриве, Прорвинскому озеру и Большой Протоке. Во второй избе, поновее, жил теперь лесник, оберегавший Зареченскую лесную дачу, состоявшую почти из чистого кедровника, тянувшегося к северу на сорок километров. Третья изба, стоявшая у реки над обрывом, самая новая, срубленная из желтых сосновых бревен, поблескивающих каплями проступившей смолы, была собственностью речного ведомства. В ней жил бакенщик, следивший за уровнем воды на перекате. Перекат начинался около заимки и тянулся до Песчаной Гривы.

Происхождение заимки Савкина относилось к тому времени, когда в Приреченской тайге обитали и кучно и в одиночку староверы. Рассказывали, что основатель заимки, Фома Савкин, прожил здесь в полном одиночестве больше сорока лет. Кормился рыбалкой, охотой, содержал пчел, сеял делянку пшеницы, которой хватало ему от урожая до урожая. Покинул белый свет Фома не по-обычному: заранее сколотил себе гроб, вырыл могилу и даже староверческий крест поставил на склоне, чуть повыше могилы. Когда пришел смертный час, сошел в могилу, лег в гроб, накрыл себя крышкой и испустил дух.

Так ли было или иначе, с точностью никто не знал, но старики утверждали, что все так это доподлинно происходило.

Калинкину и Нестерова встретило все наличное население заимки: безногий, бородатый, заросший до глаз бакенщик, кривоглазый, с большим оловянным бельмом, с пышными усами лесник и их жены — пожилые уже, но еще

крепкие, моложавые по виду бабы, выкормившие на таежном щедром харче крутые, увесистые зады.

В такой глухомани любой путник — гость. Бабы, тряся юбками, кинулись к погребам, в которых хранилась всякая снедь, а мужики, расседлав коней и поставив их под навес, в тень на выстойку, пригласили гостей на скамейку возле костерка, чадившего от комаров и прочей нечисти едким дымом осинового трута-грибка.

Не теряя времени, Нестеров приступил к делу: рассказал об экспедиции Тульчевского, о находках золота и ртути сравнительно близко от заимки, а потом принялся с горячностью расспрашивать мужиков, известно ли им что-нибудь на этот счет.

Мужики слушали Нестерова, удивлялись: всплескивали руками, ахали, мотали волосатыми головами.

— Сроду, паря, такое не слышал, — бормотал косой лесник. Тускло мерцал его оловянный глаз, наведенный прямо в лицо Нестерова.

— Туль... Туль... Туль... чевский... — Бакенщик хлопал себя по коленям широкой, как деревянная лопата, ладонью в смолевых пятнах, до пота на лбу старался воспроизвести трудную фамилию инженера.

— Ну, язви их, недоделки какие-то, а не мужики! — прошептала над ухом Нестерова Калинкина и ушла к бабам, которые продолжали суетиться вокруг стола, стоявшего под навесом, с другой стороны костра.

Минут через десять каких-то разговоров с бабами Калинкина напала на след.

— Идите-ка сюда, Михаил Иваныч! Тут вот у Аграфены есть для вас важное сообщение, — по привычке громко сказала Калинкина и лукаво подмигнула Нестерову: знать, мол, надо, с кем дело вести.

Нестеров, а вместе с ним и лесник с бакенщиком торопливо перешли со скамейки у костра под навес.

— Откель ты, Аграфена, знаешь-то про то дело? Пошто я-то ничего не знаю? Ты че? В уме ли? — удивленно разводя руками, сказал лесник.

— Вот уж чудище объявился! Да как же мне не знать-то? Федот-то Попов приходился мне по отцовой стороне сродственником. Его мать Анфиса и моя бабка Степанида были сестренницы. Я уж большенькая была, почесть девка, когда Федот-то приехал к нам в Пихтовку сговаривать батю на отход, на прииски. Пошто-то шибко

Федот скрытничал, а все же проникло до нас, до детей. Брат у меня был старший, сгинул еще на той войне, две сестры... Мать-то, бывалоча, что-нибудь начнет отцу про нужду расписывать, а он махнет этак рукой, скажет: «Ну, погоди, Лукерья, потерпи, как начнется прииск, заробим, поправится, гляди, житуха. Федот твердо посулил».

Вскоре на столе появился самовар, четвертная бутыль самогона, жареная рыба на сковороде, рябчики в сметане в большой чугунной латке...

Воодушевленный первой удачей, Нестеров привалег на расспросы, но, как ни старался, Аграфена к своему рассказу ничего больше не прибавила.

После еды Нестеров, сгоравший от нетерпения, решил осмотреть расположение заимки. Калинкина не захотела отставать от него, встала с готовностью идти с ним хоть на край света.

Они захватили с собой лопату, топор, лупу и кромкой берега, продираясь сквозь заросли малинника, пошли к тому месту, где, по преданиям, находилась могила старовера Фомы Савкина.

Возле каждого взлобка останавливались. Нестеров бережно раздвигал бурьян, тыкал лопатой в землю, прислушивался к хрусту песка под железом. Калинкина шла за ним шаг в шаг, а когда он, прижимая руку с черным протезом, начинал орудовать лопатой, чуть отдалялась от него, неотрывным взглядом следила за ним, примечая, какой он ловкий и сильный.

«И чего ж тебе не пожилось в городе? Чего ты приехал сюда? И не дуреха ли та, которая отказалась от тебя, лишилась такого счастья? Ты же еще парень, ты совсем молодой. Виски вот только у тебя чуть-чуть посеребрились. Тебе еще жить и жить... И уж не знаю, чьей ты станешь судьбой, а станешь. И не просто судьбой, а сокровищем, кладом»,— думала Калинкина, вспоминая откровения Нестерова в ответ на ее вопросы, заданные еще в первый вечер их знакомства, и тайком вздыхая от каких-то тревожных и смутных предчувствий.

12

Рано утром они встретились на песчаном берегу реки. Нестеров только умылся. Крупные капли пронзенной солнцем воды скатывались по его круглому лицу. Мокрые

русые волосы бережно облегали голову, спадали на тонкую, совсем еще мальчишечью шею, обнаженную сейчас загнутым воротником гимнастерки.

Калинкина спускалась с кручи босая, в сильно подобранной юбчонке, с полотенцем через плечо. Свежая после сна, прямая, как березка. На ней была ярко-синяя блузка, которая вместе с ее черноволосой головой отливала на свету дрожащим сине-черным огнем.

Нестеров обернулся на шорох ее шагов и замер.

— Дуня, ты... Здравствуй, Евдокия Трофимовна... — Он задохнулся, слова вылетели из памяти, и он смотрел на нее, приоткрыв рот.

— Доброе утро, Миша... Что, «Дуня, ты»?.. Ты что-то не досказал. Договори, Миша. — Она остановилась, и он понял: Дуня готова стоять час-два, целый день, лишь бы услышать слова, которые застряли у него в горле.

— Дуня, ты такая... красивая... Прямо не знаю какая...

И тут будто кто-то подтолкнул его. Он подбежал к земляной лестнице, ведущей на кручу, и, подхватив Калинкину, опустил на целых пять ступенек ниже. Ставя ее на мокрый песок, он почувствовал, как бьет ее кровь в его ладонь, оказавшуюся у нее под сердцем.

Их никто не видел на этом берегу тихой реки. Но они оба так смутились, что, отойдя друг от друга, долго стояли, не в силах вымолвить ни одного слова.

— Ну, что у нас сегодня, Миша? Какие дела-заботы? — наконец спросила Калинкина, входя до колен в реку и оглядываясь на него, все еще смущенного и сразу потерявшего ловкость, которую она вчера в нем приметила.

— Как вечером договорились, Дуня, коней оставим под присмотром мужиков, а сами сплавимся по реке и обследуем территорию, показанную Переваловым и Кольцовым. Вдруг на что-нибудь наткнемся реальное. А у тебя какие-нибудь иные соображения возникли? По колхозным делам сердце ноет?

— От колхозных дел «совнарком» на неделю меня отставил... Проживут, ничего не случится. А тут ты хозяин. Как скажешь, так и сделаем... А только утром с Аграфеной разговор был у меня. Она сказала: «Ты, девка, присоветуй прохфессору избушку дяди Федота отрыть. Оползнем в буераке ее накрыло. Кто знает, может, там инструмент какой-нибудь остался. Прохфессор-то, видать,

доказать кому-то хочет, что был тут купец-инженер. Не придумка это чья-нибудь».

— Молодец Аграфена! Дело советует. Я тоже об этом думал. Но все-таки вначале надо на территории побывать. Двух-трех дней нам хватит на эту поездку. Как думаешь?

— Как ты, так же. Сейчас умоюсь, позавтракаем и скорее в лодку. — Она изогнулась над водой, поддевала ее большими пригоршнями и бросала себе на лицо. Золотые брызги разлетались вокруг, с тонким звоном падали в реку. Нестеров завороженно смотрел на Калинкину, думал о себе как о постороннем: «Ну, Мишка, гад ты полосатый, кажется, втюрился ты по уши, как мальчишка. Уж не трепался бы хоть, сволочь, насчет женоненавистничества, не разводил бы турусы на колесах насчет неверности Симы... Ради того, чтобы с такой красавицей оказаться, и сам бы Симу отринул... Признайся, подлец, хоть сам себе в этом, будь честным... Не хитри, не пристало...»

— Пойдем, Миша. Я готова. — Калинкина прикоснулась к его руке своими мокрыми, холодными пальцами, но сквозь этот холодок Нестеров почувствовал, как пульсирует, бьет током энергия ее молодого существа. Он взял ее руку в свою и, отступив от ступенек, пропустил вперед, с трудом удерживая себя от желания поцеловать ее в затылок.

Через полчаса они плыли в лодке. Сидели друг к другу лицом: Калинкина на носу, с гребями в руках, он в корме, с веслом, конец которого был спрятан под мышкой изувеченной руки.

День был такой ясный, такой запашистый от расцветавших лугов, такой упоительный, что у Нестерова кружилась голова. Река катилась почти неслышно, поблескивали ее отмели, отражая в своей зеркальной глади белобокие облака. Суетливые стрижи будто невидимыми нитями прошивали небесные просторы, расчерчивая их на замысловатые фигуры. Бабочки, как разноцветные молнии, вспыхивали перед глазами и тут же исчезали в прибрежных кустарниках. Лес не просто зеленел, а пылал зеленью, и даже испарина над ним была пронизана изумрудными переливами.

Плыли молча, а точнее сказать, разговаривали молча, без слов, одними взглядами.

Нигде не отступая от указок безногого бакенщика: «Сначала доплывете до сломанной сосны, потом минуете

мой шалаш на песке, дальше проплывете голубой яр с обнажениями жароупорной глины, тут пересечете реку и протокой подплывете прямо к Песчаной Гриве», — Нестеров и Калинкина часа через два приткнулись к берегу.

Нестеров вытащил на сушь лодку, причальную цепочку закрепил на корневище, торчавшее из намытого бугорком, будто просеянного через сито песка.

— Ну как, Дуня? Что будем делать? Если начнем стан сооружать и обед готовить, время потеряем. Если сразу пойти на местность, то может ходьба завлечь... до вечера проходим. — Нестеров держал в руках винчестер, не зная, то ли надеть его на плечо, то ли положить на землю.

— Точь-в-точь, как в сказке: налево пойдешь — голову потеряешь, направо отправишься — душу отдашь, — весело засмеялась Калинкина, лукаво сверкая на Нестерова огромными глазами. — А если сказать всерьез: пойдем. — Она взяла из лодки свое ружье и закинула его за спину.

«Я уж, кажется, и без этого и голову потерял, и душу отдал», — с затаенным неудовольствием подумал о себе Нестеров, чувствуя, что Калинкина догадывается о его мыслях.

— Пойдем, Дуня. Нечего нам здесь рассусоливать. В самом деле: без обеда не умрем, а палатки можно натянуть и вечером. — Он говорил нарочито грубоватым тоном, с некоторым ожесточением в отношении себя.

— Что берем с собой, Миша?

— За тобой лопата, за мной топор. Еще я прихвачу кайлу. Лупа, бинокль, компас всегда со мной.

Остальное свое имущество: палатки, провизию, два котелка, кружки — Нестеров завернул в свой плащ и спрятал на берегу, в зарослях разросшегося черемушника.

— Как пойдем, Миша? — спросила Калинкина, пристраиваясь в затылок Нестерову.

— Как велел бакенщик: сначала вдоль берега реки с километр до Ржавой промоины, потом примем круто вправо до Сухого яра.

Отправляясь на осмотр интересовавших его земель, Нестеров не ставил никаких новых целей, кроме визуального знакомства с прииском и рудником Тульчевского. Найти сразу какие-то признаки месторождения или наткнуться на какие-нибудь следы экспедиции — об этом нечего было и думать. Поисковый опыт Нестерова позволял ему смотреть на вещи трезво. Но и визуальное знакомст-

во с местностью могло многое дать для будущего. Без этого просто невозможно было бы думать о реальных шагах по раскрытию тайны давней экспедиции.

До Ржавой промоины Нестеров и Калинкина шли шаг в шаг. Но когда километра через два они уткнулись в Сухой яр и, поднявшись на него, двинулись дальше, Нестеров заспешил. Он оторвался от Калинкиной, и только по его возгласам: «Дуня! Я здесь!» — она определяла, где он находится. Шла на его голос.

Всхолмленная местность, поросшая редким леском, была изрезана буераками, зияла обвалами, звенела родниками, катившимися в извилистую речку с круглыми стоячими кручами.

В одном месте Калинкина нагнала Нестерова. Скинув сапоги и засучив выцветшие брюки, Нестеров стоял по колено в воде и, сильно склонившись, рассматривал дно речки, усеянное разноцветной галькой.

— Что, Миша, не утерпел, за поиски самородков взялся? — пошутила Калинкина и опустилась на траву, вытягивая ноги в сапогах.

— Да нет, Дуня, по другой причине разулся: подошвы нажег, — попытался отвести ее предположения Нестеров, но, помолчав, признался: — Поразительное место, Дуня. Ты обратила внимание, какие тут повсюду глубокие разрезы? Вполне допускаю, что коренные палеозойские породы приближены в этом месте гораздо сильнее, чем где-нибудь в других местах нашей области.

— Ты меня прости, Миша, за невежество, я ведь агроном. Что же, по-твоему, это имеет значение для твоего дела? — спросила Калинкина.

— Конечно, Дуня. Близость коренных пород может придать этим рыхлым отложениям самые неожиданные сочетания. Тульчевский, видно, именно на это и рассчитывал и, вероятнее всего, знал об этом что-то очень существенное.

— Послушай, а кто его мог вооружить этими знаниями? Ты об этом думал, Миша? — спросила Калинкина, сбрасывая с ног сапоги.

— Думал. И неоднократно. Тут, на мой взгляд, есть два варианта. Неподалеку отсюда существовал мужской староверческий монастырь, в котором обитали много лет люди. Среди них могли быть и знающие. А второе, что еще более важно: с девятьсот седьмого по десятый год

на приреченских землях работали партии Главного переселенческого управления. Они выявляли пригодные земли для колонизационных целей, то есть для заселения переселенцами из центральных губерний. В этих партиях, кстати сказать, хорошо оснащенных по тому времени, работали опытные специалисты. Партии вели большие исследовательские работы геологического, гидрологического, ботанического и метеорологического характера. В летнее время работы велись в полевых условиях. Вероятность находок была вполне реальной. Возможно, сам Тульчевский, а может быть, кто-нибудь другой наткнулся на месторождения, что тоже не исключено, на признаки и спутники золота и ртути...

Калинкина махнула перед своим залоснившимся от испарины лицом коричневой рукой:

— Как в каждом деле, Миша: чем дальше в лес, тем больше дров.

Нестеров засмеялся удачному сравнению Калинкиной, выйдя из реки, сел возле нее.

— У нас на раскопках почти так же говорили: чем глубже в землю, тем больше земли.

Они посидели еще несколько минут в тени ветвистой пихты и пошли дальше, ныряя по рытвинам, буеракам, промоинам. На этот раз шли вместе, переговаривались о том о сем, останавливались около свежих обнажений, и Нестеров расковыривал осыпи острым концом лопаты.

Под вечер солнце принялось пылать с таким ожесточением, что в лесу стало душно. Нагревшийся воздух распирал ноздри, дышалось тяжело.

— К ночи гроза соберется. Парит, как в бане. Давай, Миша, поворачивать, — сказала Калинкина, видя, что Нестеров увлекся осмотром местности и забыл обо всем на свете.

— Хорошо, Дуня. Вот только осмотрим вон тот холмик и пойдем. В самом деле, не к добру припекает, — ответил Нестеров, продираясь через хрустящий под ногами валежник.

Пока осматривали «тот холмик», на небе произошли перемены: чистое, голубое, неохватное, оно вдруг стало темнеть, хмуриться... Вскоре из-за горизонта поползли быстрые облака с косматыми полотнищами по краям.

Торопились к берегу реки, где оставили лодку и имущество. Тут обязанности разделили: Калинкина рубила

колья для палаток, а Нестеров, орудуя обрубком тяжелой коряжины, забивал колья в песок.

Едва натянули палатки, ударил ветер, забурлила река, заскрипел сухостойник, застучали в брезент крупные дробины небесной воды.

Калинкина бросила в свою палатку мешок с харчами, ружье, агрономскую стеганку, кинулась и сама туда же. Нестеров с минуту колебался, стоит ли ползти в палатку, посматривая на небо и надеясь, что ветер быстро раздует скопившиеся тучи, но гром с такой оглушительной силой разорвался где-то совсем над головой, что Нестерову невольно захотелось прижаться к земле. Он поспешно юркнул в палатку, растянулся на плаще, прислушиваясь к бурному плеску реки.

А молния сверкала через короткие промежутки и так ослепительно, что на мгновение сгустившаяся темнота рассекалась, как от удара мечом, и Нестеров отчетливо видел перед собой белеющий песок, бурлящую реку, заросли краснотала на противоположном берегу. «Ну, дает! Прямо как на фронте при артналете», — думал Нестеров, не переставая наблюдать в приподнятый полог за новыми вспышками молнии.

Вдруг послышался такой раскат грома, что Нестерову показалось, что заколыхалась земля.

В ту же минуту, наперекор отголоскам эха, раздался истошный крик Калинкиной:

— Ми-ш-а-а-а! Боюсь!

Нестеров вскочил на колени, намереваясь посмотреть, что с ней происходит, но вновь вспыхнула молния, и вместе с вспышкой света в его палатку ворвалась Калинкина. Она кинулась к Нестерову, обняла его и, не давая ему сказать ни одного слова, припала своими губами к его губам.

Удивительно, но разгулявшаяся, страшная в своей неукротимости стихия будто бы только и ждала этого. Затих ветер, перестала блистать молния, смолкли раскаты грома, и по молодой листве черемушника и тальника зашелестели тихие, ровные капли.

— Мой... мой... С первого взгляда мой... И стыдно мне, Миша, и хорошо... и стыдно и хорошо... — шептала Калинкина, и Нестеров чувствовал, как ее тело становится доверчивым и податливым.

В палатку бережно, с убаюкивающей осторожностью

стучал первый теплый в эту весну дождь, прозванный в народе емким словом «травник».

13

День снова выдался лучистый, теплый. Омытая ночным дождем земля лежала нежная, ласковая, примолкшая. Будто не было вчерашней грозы с ураганным ветром, пылающим небом, грохотом и треском грома, шумом леса и реки.

Первым встало солнце, а за ним поднялась Калинкина. Почуяв, что лучи начинают пригревать палатку, она осторожно выпростала свою руку из-под головы Нестерова и, стараясь не разбудить его, прижимая в охапку одежду свою, в одной короткой рубашонке выползла из палатки...

Свежий ветер с реки обдал ее полуобнаженное тело, заполоскалась на ней батистовая с вышивкой по кромке сорочка. Стыдливо сгибаясь, подбирая розовые груди, будто кто-то мог увидеть ее здесь, Калинкина забилась в тальник и там оделась. Потом она вышла на берег, к самой реке и занялась прической. Зеркала у нее с собой не было, и она то и дело поглядывала направо, на лужицу дождевой стоячей воды, скопившейся в ложбинке с вечера и так хорошо отражавшей ее лицо, что заметны были даже первые морщинки на гладком лбу.

Длинные черные блестящие волосы вначале рассыпались по спине чуть не до поясницы, затем она собрала их в косы и стянула на голове в корону. Ей хотелось сегодня быть привлекательной, во что бы то ни стало привлекательной. Вчера он заметил ее красоту и восхитился. Но ей стало бы больно, если б восхищение не вспыхнуло в нем сегодня, когда она подарила ему себя всю без остатка.

Калинкина долго и тщательно рассматривала себя в лужице, поворачиваясь то так, то этак. И если б над ней не закаркала ворона, неизвестно, сколько времени это могло бы продолжаться...

«Ишь проклятая, вроде насмехается... А что же, правильно насмехается: не первой свежести ягодка... вдова... и на должности для пожилых... Одним словом, старуха», — думала она. Но эту думу перехлестывала другая дума: радостная, искрящаяся, буйно-веселая: «Да что ты

наговариваешь на себя, дуреха! Ты же молодая и бабой-то была одну ночь. Тетя Груша правду тебе говорит: «Ты же, Евдокея, как крынка с молоком до краев и сливки еще не сняты».

В это утро ей было хорошо, легко, хотя какие-то тревожные толчки на мгновение останавливали сердце: вдруг на этом все кончится? Вдруг не повторится то, что было в эту ночь?

Когда Нестеров вылез из палатки, Калинкина хлопотала уже возле костра, на котором булькал котелок с варевом. Увидев его взъерошенным, босым, в брюках без ремня, в нижней рубашке, сощуренного и слегка ослепленного солнцем, она замерла: какие же слова он скажет? По этим его первым словам она без ошибки поймет, что лежит у него в тайниках души.

— А ты уже встала?! И как тихо! — Прямо как ласточка взлетела без звука, без шороха, — заговорил он, присматриваясь к ней, стараясь по настороженному ее лицу угадать, какие чувства породила в ней эта ночь, полная грохота и тишины, напряжения и сладости, загадочности и откровения. Видя, что она потупилась в смущении, он раскинул руки и пошел к ней, бормоча:

— Сокровище ты мое! Радость ты моя! Видно, за все муки мученические дана ты мне... Не чаял — не гадал... Дуня... Свет мой...

Она прижалась к его худощавой груди и заплакала от избытка счастья, которое долго обходило ее и вот распахнулось перед ней во всей своей неизмеримости.

Но как ни тянуло их друг к другу, время тоже не могло ждать: он сходил на реку, умылся, потом они позавтракали плотно, с аппетитом и отправились осматривать местность, утопавшую после дождя в сизо-голубой наволочи.

По вчерашним намерениям им в этот день с утра предстоял осмотр территории, потом отъезд к Прорвинскому озеру для знакомства с местоположением рудника Тульчевского и возвращение к ночи на заимку Савкина.

Но к полудню их планы переменились. Придя к своему стану, они решили пообедать, а когда обед кончился, Нестеров, поглядывая на солнце, уже прошедшее свой зенит и повернувшееся в сторону заката, раздумчиво сказал:

— А что, Дуня, не стоит ли нам и сегодня заноче-

вать здесь? Все равно к Прорвинскому озеру доберемся только к сумеркам.

Калинкиной никуда отсюда уезжать не хотелось, и она с радостью согласилась:

— Хорошее здесь место, Миша. Я готова всю жизнь тут прожить...

— А все может быть, Дуня. Отыщем богатства, приведем людей добывать их и сами останемся.

— Я свое богатство нашла. — Она смотрела на него огромными глазами, в непроглядной черноте которых посверкивали золотистые огоньки, которые завораживали и притягивали его.

— Душа ты моя, свет ты мой...

Через два дня все, что намечал Нестеров, было сделано. Ни осмотр рудника Тульчевского, ни осмотр избы, похороненной под оползнем, на самой заимке, ничего нового не принесли, но и веры в историю экспедиции Тульчевского не поколебали. Эти приреченские просторы могли хранить все — всю таблицу Менделеева.

Еще через день Калинкина проводила Нестерова, уезжавшего в Приреченск с попутной машиной все с того же леспромхоза.

14

А в Приреченске Нестерова с нетерпением ожидали две женщины. Первой была Иришка, сестренка его бывшей жены Симы. Он заметил ее еще издали: вдоль палисадничка его дома прохаживалась туда-сюда высокая, тонкая, в клеенчатом плаще женщина. Она ходила не спеша, изредка останавливалась перед проулком, напряженно смотрела, не идет ли кто по нему. Ирка была с рождения сильно близорукой и не заметила приближения Нестерова со стороны усадьбы леспромхоза, размещавшейся у речки за домами. «Зачем она тут появилась? Не иначе стряслось что-то с Серафимой», — подумал Нестеров и в тот же миг поймал себя на том, что думает о бывшей жене равнодушно и отчужденно.

— Здравствуй, Иришка-пулеметчица! Не меня ли ты ждешь? — сказал Нестеров, подходя к девушке и называя ее прежним именем, присвоенным еще до войны за манеру говорить часто и звонко.

— Ой, Миша, а я тебя с этой стороны никак не ждала. Второй день возле твоего дома обитаюсь. А тебя все нет и нет, — судорожно поводя худыми плечами, сказала Иришка, пряча за очками свои близорукие, беспомощные глаза.

— Пойдем в дом, Ириша. Напою тебя чаем, и поговорим обо всем, — пожимая худенькую руку девушки, сказал Нестеров.

— Я тороплюсь, Миша, мне необходимо сегодня уехать, а поезд отходит через час. Госэкзамены на носу.

— Успеешь. Я быстро сварганю чай. В два счета.

— Без жены научился.

— Многому научился, Ириша.

Пока Иришка сбрасывала с себя клеенчатый плащ, Нестеров растопил припасенными стружками железную печку и, наполнив чайник, поставил его на жаркое место.

— Ты что приехала-то? В самом деле ко мне? — спросил Нестеров, садясь за стол напротив девушки.

— Точно к тебе. По поручению Серафимы. Ждет ответа.

— Странно! — воскликнул Нестеров.

— Может быть, и странно. Наказала она съездить к тебе. Просит простить ее.

— То есть как простить? — не понял Нестеров.

— Как? Я не знаю. Просит простить ее, забыть обо всем, что произошло, клянется, что будет верной тебе до гроба. Не сладилось у нее с профессором. Жуткий жадюга. Даже сахар выдает ей по счету. Три ложечки утром, три вечером. Полнеют, мол, с сахара. Не написала бы об этом родная сестра, никогда бы не поверила, что могут жить на земле такие уроды.

— Ну и ну, — грустно усмехнулся Нестеров.

— И ужасно ревнивый... Пишет, что щиплет ее, как гусь, чтоб синие подтеки были на лице и шее... Об этом она, конечно, не велела тебе говорить... Так как, Миша, простишь или...

— Нет, Ириша, не прощу. А если б и простил на словах, то солгал бы. Сердце такое не простит. Неужели тебе-то это не ясно? Ты же всегда была у нас умницей.

— Мне, Миша, ясно, а Симку жалко, сестра все-таки. Запуталась она, жертвой своей красоты стала, дура.

— Прости, Ириша, иначе не могу. И продолжать этот

пустой разговор не имею желания. Давай поговорим о другом.

Но говорить о другом Иришка не захотела. Она вскочила и выбежала опрометью из дома. Нестеров в окно долго смотрел ей вслед. Плечи ее вздрагивали, и он понял, что она оплакивает легкомыслие и неверность старшей сестры тяжкими слезами осуждения.

А перед сумерками к Нестерову пришла Лида. Она вошла в дом шумная, нарядная, с модной прической, в тесном костюме, плотно облегавшем ее высокую, слегка вытянутую фигуру, перехваченную в талии и потому напоминавшую стрекозку. Вместе с ней в холостяцкий дом Нестерова ворвались запахи духов и кремов.

— Миша, я так по тебе соскучилась, — сказала Лида и, отодвигая с грохотом табуретку и скамейку, бросилась к Нестерову, обняла его и принялась целовать в губы.

«Что это она? Неужели влюбилась? Вот уж некстати», — пронеслось в голове Нестерова, и он попытался освободиться от объятий Лиды. Но она вновь придвинулась к нему и, схватив его за руку, прижала ее к своему сердцу.

— Я как подумаю, Миша, что приехал ты сюда из-за меня, из-за Степиных наказов, мне становится горько и больно... И я не знаю... что сделать... как поступить, как жить дальше, чтобы ты понял всю мою благодарность тебе...

— Вот сядь-ка, Лида, и послушай. Я ведь приехал с территории Тульчевского... Провел там неделю, — сказал Нестеров и, подхватив Лиду под локоть, подвел ее к столу и усадил на табуретку.

Только теперь, отойдя на несколько шагов от Лиды, он рассмотрел ее костюм. Костюм был сшит из кителя и брюк Степана. «Вот как она! Не успела еще утихнуть боль от войны, а она уже наряжается, спешит понравиться. А ведь могла бы сберечь, навсегда сберечь его гвардейский мундир».

От своего открытия Нестеров почувствовал горячие толчки в голову, и с языка готовы были сорваться резкие и обидные слова.

— Прости, Лида, я схожу за дровами, — сквозь зубы процедил Нестеров и вышел во двор.

Он долго стучал здесь топором, без особой необходимости размельчая березовые поленья. Вернулся успоко-

енный, внутренне подготовившись рассказывать о своей поездке.

Лида настолько была увлечена своими чувствами, что не обратила внимания ни на его сдержанность, ни на сухость его сообщения о путешествии. Она часто вздыхала, закидывала руки за голову, как бы напоказ выставляя свою не по фигуре пышную, высоко подобранную грудь. Несколько раз она забрасывала ногу на ногу, и Нестеров видел ее голые ноги и кружевные панталоны. Он отводил глаза в сторону, но Лида делала вид, что не замечает его смущения. Она ушла молчаливая, сдержанная и непонятная. Уже стемнело, и он предложил ей проводить ее до больничного городка.

— Миша, не насилуй себя, — тихо, почти с рыданием, сказала она и, накинув белый платок, висевший на плечах, на голову, вышла, не обернувшись.

А дня через три Лида вновь появилась в доме Нестерова. Она была сейчас уже другой: будничной, уставшей, виноватой. Из того костюма на ней была только юбка. Лида забилась в угол и сидела, сжав плечи.

— Ты здорова, Лида? — присматриваясь к ней, спросил Нестеров, гремя чайником.

— Вполне, Миша.

— А все-таки ты какая-то иная сегодня...

— Не нравлюсь я тебе, Миша, никакая: ни наглая, как тогда, ни тихая, как теперь. — Ее бледное лицо стало совсем мрачным, губы шевелились в судорожной улыбке, глаза останавливались на одной точке.

— Может быть, поговорим, Лида?

— Поговорим, Миша.

— Что тебя мучает, Лида?

— Ты мучаешь, Миша.

— Я? Вот уж не представляю себя в роли мучителя...

— Ну, может быть, это и резко сказано, — уловив в его голосе нотку обиды, начала смягчать Лида. — А все-таки тяжко мне стало с тобой, Миша...

— Да почему? Ты что-то, Лида, преувеличиваешь. Ответь, почему? Что произошло?

— Представь себе, если б тебя не было... Только ты не обижайся... Ты же знаешь, я преклоняюсь перед тобой бесконечно... Ну вот: тебя нет, и я вольна принять любое решение, совершить любой поворот в жизни... А при тебе не могу... Ты как часовой моей совести, который стоит в

стороне и сторожит меня... Хотела смягчить тебя, стать любовницей, что ли... И это ты отвергаешь. И оттого еще горше...— Лида глотала концы слов, перешла на шепот, нос ее сразу вспух, покраснел.

— Бог с тобой, Лида! Ты все истолковала не так. Будь вольна, принимай любое решение... Ни в чем, совершенно ни в чем я тебя не упрекну. И нисколько не меньше буду уважать тебя как близкого человека моего друга. Что произошло-то? Скажи, если можно! — Нестеров разволновался, зашагал по комнате — в один угол, в другой... Никак не думал он, что жизнь может приобрести такой оборот.

— Замуж я собралась, — выдохнула Лида и насторожилась вся, будто в ожидании удара.

— Полюбила? — горячо спросил Нестеров и подумал: «И я вот полюбил... И все идет, как должно идти в этом мире... И память о дорогих людях нельзя превращать в оковы для живущих...»

— Возможно, и полюбила... Возможно, Миша, потому что после Степы полюбить снова нелегко...

— Ну и будь, Лида, сама себе судьей. Решай, как хочешь: знай, я убежден в этом, Степа, появись он на мгновение, не осудил бы тебя... Скажи только, кто он, этот счастливец, которому судьба дарит такую прекрасную женщину, как ты, Лида?

— Ну, скажи мне, Миша, скажи только чистосердечно: ты не презираешь меня?

— За что, Лида? Ведь Степа, умирая там, на войне, не накладывал на тебя вериг. Вспомни, что написано у нас в «Клятве дружбы»... Неужели ты не веришь мне, Лида?

— Можно, я поцелую тебя как друга, моего друга, не только Степиного? — облегченно сказала Лида и кинулась к Нестерову. Он подхватил ее, бережно приблизил к себе, поцеловал в губы и в лоб.

— Как я хочу тебе счастья, Лида! — воскликнул он и, закрыв глаза с каким-то просветленным лицом, повторил свой поцелуй. Потом она, вся преобразившаяся, суетливо поправила прическу и, опустившись на табуретку, беззаботным тоном сказала:

— Ну, он влюбился в меня, Миша, просто ужасно. Врач он. На семь лет старше меня. Тридцать два мне, тридцать девятый ему. Как видишь, одного со мной поко-

ления. Воевал, был начальником полевого госпиталя, правда, на Дальнем Востоке. Говорит, хоть война там была короткой, но пять раз у него возникала реальная угроза принять смерть. До войны женился, но неудачно. Вскоре разошлись. Она тоже была врач, по всем данным, погибла на Курско-Орловской дуге. Остался от их совместной жизни только альбом фотографий. Ну, естественно, придется мне уехать в Барнаул... Горько оставлять Тимошкину могилу...

— Не беспокойся, Лида, я присмотрю за могилой Тимошки. А как мама? Она знает?

— Знает! Рада за меня. Может ведь все еще сложиться по-хорошему. Правда, Миша?

— И я рад, Лида. Будь счастлива. — На лице Нестерова, сохранившем свежий загар, привезенный из лесов Приречья, светилась улыбка, и только добрые глаза были печальны. Хорошо, что она, Лида, уже захваченная своим счастьем, не замечала этой пригасшей в его глазах тоски и боли. Что же все-таки происходило? Разве не искренен был его разговор с ней? Нет, он говорил то, что думал. Просто разум и сердце разошлись. Умом понимал, что происходящее не составляет ничего исключительного или необыкновенного. А сердце ничего этого не принимало: и ее перешитый костюм, и ее любовь к другому, и ее замужество, и ее отъезд отсюда, из его родных мест, которые он любил, которым был предан до последнего дыхания. «Ну, как же это может быть? Зачем же все это она делает? Неужели нельзя жить иначе? Уедет... Забудутся дни, прожитые здесь вместе с ним... Забудется он сам... Сына нет... Близких разметала жизнь по белу свету... Ах, Лида, Лида...»

Нет, она все-таки заметила, что он помрачнел, нелюдимо нахохлился, смотрит в пол.

— Ты что, Миша? Жалеешь меня? — весело спросила Лида.

— А ты что же думаешь, легко мне тебя отпускать? — Раздражение прорвалось в его голосе.

— Значит, осуждаешь? — встрепенулась она.

— Нет, нет, нет, Лида! А грусть есть... Уедешь, забудешь меня. Напиши сразу же, немедля, и я буду писать — все, все, как пойдет дело с Тульчевским. И, пожалуйста, предупреди сразу мужа, чтоб не ревновал, чтоб не возникли осложнения между вами.

— Обязательно, Миша, непременно. Сделаю все, как говоришь, и буду ждать твоих писем с нетерпением.

— Ну, будь, Лида, здорова, еще раз будь счастлива.

И Лида ушла. Нестеров заметался по дому. Первый раз после смерти матери ему захотелось заплакать. Он бросился на кровать, пригреб подушку, уткнулся в нее мокрым лицом.

15

А лето величаво шествовало по сибирской земле. Дни стояли знойные, безоблачные, длинные до бесконечности. Смеркалось почти в полночь.

С лугов, которые раскинулись сразу за Приреченском, тянуло запахами свежего сена. Особенно этот запах был стойким, опьяняющим на вечерней зорьке, после редких, коротких дождей.

К дому Нестерова примыкал огород, распаханный лишь наполовину. На второй половине рос мелкий, кудрявый березничек, а в траве столько было земляники, что Нестеров не успевал съедать. Земляника была крупная, сладкая, и Нестеров ел ее досыта, пока принимал желудок.

После отъезда Лиды Нестеров привел в порядок могилу Тимошки. Мальчишка и тут, в земле, оставался мальчишкой. Могила была узенькой, продолговатой. Нестеров обложил ее дерном, покрасил деревянный столбик с пятиконечной звездой наверху, прибил металлическую пластинку: «Тимоша Кольцов, сын фронтовика-гвардейца подполковника Степана Кольцова, ученик Первой приреченской школы, безвременно погиб на реке в бурю».

Лида сообщила о себе кратко: устроилась, довольна, в своем поступке не раскаивается...

Перед началом уборки в Приреченск нагрянула Калинкина: председателей колхозов вызвали в райком партии на совещание.

Было раннее утро. Нестеров только встал, умылся, причесал перед зеркалом на стене отросшие темно-русые волосы. Вдруг под окном зарокотала машина. Глянул и весь зарделся от радости. В старом, побитом еще на фронте «виллисе» Калинкина. Одна. Сама за рулем.

Попытался унять волнение, сделать спокойный вид, да нет, брат, любви не прикажешь. Выскочил навстречу.

Плеснулся из ее огромных черных глаз требовательный вопрос: «Любишь? Не наговорил там, на берегу реки, лишку?» А из его горящих глаз полетел тот же вопрос: «Любишь? Или хватила через край тогда?»

Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза, а потом обнялись, обхватила она его голову сильными, крупными руками, чуть-чуть прикрытыми ситчиком кофты, зашептала сладкими губами в покалеченное ухо:

— Тяжко мне, Миша, без тебя, родной ты мне. Уж либо вместе, либо никак.

И он залепетал, как ребенок, какие-то просительные, жалкие слова, которых и понять-то было невозможно, — все слилось в шепот.

Прожила Калинкина в Приреченске сутки по вызову райкома да еще сутки прихватила тайком, на свой страх и риск.

Для влюбленных сутки — одно мгновение. И все же о многом они успели переговорить. Условились осенью начать совместную жизнь. Он торопил: не надо откладывать, приезжай сейчас, дом ждет хозяйку в любой момент... Калинкина притормаживала: разве может она бросить своих баб в разгар лета? Разве совесть позволит ей оставить колхоз, когда на всех рысях приближается уборка? Да как же о ней подумают люди? Ведь это все равно, что в бою покинуть свои позиции!

Нестеров чувствовал: права Дуня, научила ее жизнь суровому обхождению с собственными хотениями.

Да и ему предстоит многое до осени сделать. И прежде всего побывать снова на территории Тульчевского, забрать образцы пород и переправить их в областной центр, в лабораторию.

Весь август он затратил на эту работу. До территории Тульчевского пришлось на этот раз добираться на лодке. А потом ждать на ближайшей пристани у Песчаной Гривы попутный пароход и с ним трое суток кружным путем тащиться до областного города. Спасибо военкому Фролову, он снова помог и людьми, и лодкой, и даже выкроил из небольших военкоматовских ассигнований полтысячи целковых на оплату землекопов и ящиков для образцов грунта.

В городе Нестерову пришлось пережить немало огорчений. Область, по преимуществу сельскохозяйствен-

ная, не располагала еще в те годы геологической службой. Пристроить образцы на исследование оказалось непросто. Лаборатория Политехнического института, наиболее солидная по оснащению, была перегружена специальными заданиями по развитию каменноугольного производства, а университет и другие институты имели установки полукустарного типа.

— А, собственно говоря, кто вы такой есть, чтобы в государственной лаборатории затрачивать и силы и средства на исследования любительского характера? — отпихивались от Нестерова в лабораториях институтов.

Пришлось искать сочувствующих. Их достаточно оказалось в краеведческом музее, куда Нестеров направился при первой же неудаче. Но вес краеведческого музея был слишком мал, чтоб сломить сопротивление администраторов от науки.

Нестеров кинулся в областные организации. Тут выслушивали его с видимым интересом, передавали с рук на руки — от преда к заму, от зама к пому и вопросительно посматривали как на чудака: «Что вы, любезный, откуда вы свалились? Какая киноварь, какие золотоносные пески? У нас область равнинная, наши рыхлые земли годны лишь для сельхозугодий, и то при условии внесения органических удобрений. Экспедиция Тульчевского? Не припоминаем. Такая по документам не значится. Экспедиции переселенческого управления до первой мировой войны ходили, это так, но их цель состояла в другом: выявить пахотно-способные земли, еланные и пойменные угодья, источники водоснабжения для новых партий переселенцев. Вам бы, уважаемый, постучаться в центр, может быть, кого-нибудь из историков или писателей заинтересует ваша легенда...

Но, как говорится, капля камень долбит, что касается слова, то оно полками верховодит. Нашлись наконец и в Политехническом институте люди, которых не год, не два занимали вопросы ресурсов обширной области. Приняли образцы. И даже отправили на исследование вне всякой очереди. А когда лаборатория выдала рапортичку с анализом, немало подивились. Образцы показали высокое содержание ртути и золота на территории рудника и прииска Тульчевского.

Нестеров первым делом бросился на телеграф, чтобы известить о важном событии Калинкину: «Родная Дуня,

раздели мою радость. Образцы изучены, будущее территории Тульчевского обеспечено».

Однако Нестеров с выводами явно поспешил. Несмотря на обнадеживающие анализы, практически дело не сдвинулось. В области не было такой организации, которая реально могла бы принять все заботы по освоению территории Тульчевского на себя. Застрочили перья. Бумаги полетели в центр, откуда ответили без проволочки: «Обратим внимание на ваши данные в перспективе. В настоящее время нет ни ассигнований, ни материалов, чтобы приступить к освоению территории Тульчевского, требующей прежде всего проведения серьезных разведочных работ. Первичного анализа недостаточно».

Нестеров прожил в областном центре больше месяца. Вернулся в Приреченск похудевший, уставший и неделю пролежал в постели с острой болью в боку, в зоне сквозного пулевого ранения.

16

Осень стояла звонкая, многоцветная, сухая. Народу в селах было маловато. Но, спасибо, горожане подсобили. Все главное успели убрать до мокра. Фронтовики вживались в мирную жизнь и постепенно выходили на первую линию. Женщины чуть отступили. Выпали на них новые заботы: появились беременные, улицы огласились криком младенцев.

В середине октября в Приреченске собралась районная партийная конференция. Приехали на нее директора совхозов, председатели колхозов, бригады, мастера мехлесоучастков, полеводы, животноводы. Приехала Калинкина с целым выводком молодых, ядреных баб — одна краше другой. Прибавка мужского населения чувствовалась и здесь, в зале райпартконференции. Но смещение это происходило «в среднем». Пихтовка, несколько соседних с ней деревень почти не испытывали перемен. Мужики из этих мест полегли в волжских степях под Сталинградом. Полегли безвозвратно.

Из области на конференцию приехал первый секретарь обкома Савельев, высокий, светловолосый и голубоглазый мужчина лет пятидесяти с небольшим, побывавший в об-

ласти на многих должностях — от директора совхоза до председателя облисполкома.

Нестеров тоже оказался делегатом партконференции. Его выбрали коммунисты партийной организации районного военкомата. Вторым делегатом был от них военком Фролов, ставший недавно подполковником.

Время так плотно было спрессовано, что Калинкина не успела даже заехать к Нестерову. Встретились у райкома и, едва пожав друг другу руки, заторопились в зал под дребезжащий, нетерпеливый звонок. Сели рядом, испытывая тихую радость оттого, что снова вместе, вместе на целый день.

Но вот послышались фамилии делегатов, которых предлагалось избрать в президиум конференции:

— Савельев! — первый секретарь обкома.

— Петров! — первый секретарь райкома.

— Калинкина! — председатель Пихтовского колхоза. Названо было свыше двадцати фамилий.

Под аплодисменты зала вместе с другими Калинкина поднялась на сцену, хотела сесть в последнем ряду, чтоб видеть Нестерова глаза в глаза. Но Савельев перехватил ее у стола, пригласил в первый ряд, пошутил:

— Садитесь вот сюда, Евдокия Трофимовна. Украсьте нашу шеренгу.

Калинкина села за стол с краю и поняла, что в расчете ошиблась: Нестерова отгораживала широкая, светло-коричневая, из полированного дерева трибуна. Как только первый секретарь райкома начал отчетный доклад, Калинкина вынула из сумки набросок своей речи, напечатанной на машинке, и принялась пополнять текст новыми фразами: «Раз Мишу не вижу, займусь своим выступлением», — подумала она и расправила на столе большой ладонью смятые листки.

Нестеров вытягивал шею, склоняя голову, косил глазами, но видел только ее точеный профиль и вороной отлив волос. «Желанная... родная... счастье...» — проносилось у него в уме.

Доклад Петрова о работе райкома партии вначале показался Нестерову суховатым: общие фразы, известные положения... Но вот секретарь райкома заговорил о жизни района, и вдруг речь его зазвучала живо, заразительно, осветилась вспышками юмора, зарокотала суровой требовательностью. Зал пришел в движение, раздались

дружные хлопки. Петров рассказывал о деятельности совхозов, колхозов, леспромхозов. Одних работников хвалил за инициативу и честный труд, других обличал за бесхозяйственность и безрукость. Нестеров почувствовал, как с каждой минутой нарастает в зале напряжение, интерес... Зашелестели делегаты блокнотами, задвигались по бумаге карандаши и ручки.

«А что, если и мне выступить?.. Рассказать о завещании Степана Кольцова... попросить у райкома и обкома содействия... Дуня... С ней поговорить бы... посоветоваться», — мелькало в голове Нестерова.

Колебания обуревали его: выступать? не выступать? «Ты же будешь говорить о важном деле. Где же тебе еще выступать, если не здесь?» — твердил внутренний голос. Не преодолев окончательно своих сомнений, Нестеров раскрыл свой делегатский блокнот и начал записывать некоторые соображения на случай, если выступать все-таки доведется...

В перерыв, сразу после доклада райкома, Нестеров поспешил отыскать Калинкину. Они забились в самый дальний уголок зала, и Нестеров торопливо, вполголоса принялся рассказывать ей о своем намерении:

— Начну свое слово, Дуня, так: «Здесь много говорилось о хлебе, о мясе, о молоке, о лесе и, естественно, о земле. И я продолжу разговор о земле. Но только в иной плоскости: буду говорить о сокровищах, которые таятся в ее недрах и ждут наших рук, ждут нашего внимания». И дальше, Дуня, не мудрствуя лукаво, расскажу, кто я такой, с какой целью приехал сюда, что уже нашел, что предстоит сделать, какая требуется от области и района помощь...

Калинкина выслушала Нестерова, не перебивая, с повелительной ноткой в голосе сказала:

— Пиши записку в президиум, Миша. Передам лично Петрову. И в добрый час! Пожелай и мне того же.

17

Районная партконференция закончилась поздно ночью. А рано утром Нестерова поднял с постели райкомовский шофер.

— Товарищ Нестеров, велено привезти вас. Вызывает сам Иван Павлыч Савельев.

— Почему в такой ранний час? Что стряслось? — полюбопытствовал Нестеров, усаживаясь в автомобиль рядом с водителем.

— Какой там рано! Иван Павлыч приехал в райком из райгостиницы затемно. И Петров там, и все остальные секретари...

Пока ехали по тряским улицам Приреченска, Нестеров прикидывал, что могло побудить Савельева к встрече с ним. Может быть, не поверил анализам, хочет посмотреть рапортички лаборатории собственными глазами? Что ж, пожалуйста! И рапортички, и карты территории Тульчевского в кармане у Нестерова.

Савельев принял Нестерова в кабинете первого секретаря райкома Петрова. Но когда Нестеров, пожав руку и Савельеву и Петрову, присел на стул возле письменного стола с крепкими, массивными тумбами, секретарь обкома, взглянув на Петрова, тихо сказал:

— Побеседую один. Занимайся, Виктор Михалыч, своими делами.

Петров поспешно вышел из кабинета, а Нестеров невольно заворочался на скрипучем стуле, испытывая какое-то беспокойство от фразы секретаря обкома: «Побеседую один».

— Очень взволновали вы меня своим выступлением, товарищ Нестеров, — сказал Савельев, присматриваясь к собеседнику, охватывая его всего сразу внимательным взглядом. — Сегодня всю ночь не спал и сам и бюро обкома поднял на ноги. Прямо отсюда по селектору мы строго указали некоторым областным чинушам на безобразное равнодушие к вашим предложениям. Бюро обкома считает, что ваше начинание — это первая ласточка. Не могут же недра такой области, как наша, лежать в неподвижном состоянии! Жизнь приведет их в движение в интересах всего народного хозяйства... Но... и трудностей не могу скрыть перед вами. Мы не только не имеем геологического управления в области, у нас нет пока ни одного треста, который хотя бы близко стоял к вопросам освоения природных ресурсов. Виной тому и война, да и мы сами. Откровенно говорю: мало, робко думали о перспективах, слабо нацеливали на это и научные силы...

— Может быть, все-таки поставить эти вопросы перед центром? — сказал Нестеров, когда Савельев умолк, берясь за пачку с папиросами.

— Все это верно, но применительно к вашим предложениям есть у нас и другие намерения. Многое сейчас будет зависеть от вас...

— От меня? Ради дела я готов на все, — приподымаясь на стуле, сказал Нестеров.

— Сидите, товарищ Нестеров. Прошу вас, — вставая и вместе с Нестеровым снова садясь, проговорил Савельев. Он помолчал, как бы о чем-то посоветовался сам с собой, и, чуть понизив голос, продолжал:

— К нам в область, а точнее сказать, сюда, в Приречье, едет экспедиция. И откуда, вы думаете, она едет? С Урала! Она профилирована на поиски сырья для строительных материалов. В связи с предстоящим размахом промышленного и жилищного строительства в огромных объемах нужны песок, гравий, каолиновые глины. Все это у нас в области имеется, хотя, конечно, потребуются серьезные разведочные работы. Мы дали согласие уральским организациям принять экспедицию, помочь ей развернуться, укомплектовать ее рабочей силой. И вот сегодня ночью, товарищ Нестеров, у бюро обкома возникла мысль начальником этой экспедиции назначить вас... Научное руководство будет осуществлять один из институтов, расположенных в Свердловске, а начальника мы согласились подыскать здесь, знающего местные условия и так далее...

— Помилуйте, Иван Павлыч! Я же не геолог, а археолог! — сказал, поеживаясь, Нестеров.

— Ну и что же? Вы опыт организации поисковых работ имеете или нет?

— Имею. Правда не очень богатый опыт...

— Уже хорошо.

— А позвольте узнать: где конкретно, в каких точках развернется экспедиция? — спросил Нестеров, прикуривая от зажигалки Савельева.

— Штаб экспедиции, нам думается, следует разместить в Пихтовке, а базу снабжения выдвинуть на Песчаную Гриву. Поисковые работы скорее всего будут разворачиваться от этой точки веером.

— Вот уж поистине, Иван Павлыч, как в пословице: у счастливого петух несется! — засмеялся Нестеров и, заметив недоумение на лице Савельева, пояснил: — В Пихтовке у меня жена, а под Песчаной Гривой — территория Тульчевского.

— А вы думаете, мы не учитывали эти обстоятельства? — Савельев хитро прищурил свои светлые глаза.

— Откуда же вам стали известны эти обстоятельства, Иван Павлыч? Ну, территорию Тульчевского я сам называл, а насчет жены?..

— Ну, уж так и быть, выдам тайну: приглашен лично Евдокией Трофимовной на свадьбу. Каково?! Она же член обкома, неужели от первого секретаря будет скрывать такое событие? — Савельев снова свел веки, засверкали в продолговатые прорези умные глаза, заколыхались в смехе его угловатые плечи.

— Вот болтушка! Женщина остается женщиной, даже если она на ответственном посту председателя колхоза! — попробовал поворчать Нестеров, но Савельев, став вдруг серьезным и строгим, сказал:

— О нет, товарищ Нестеров. Евдокия Трофимовна сказала мне по другой причине: колхоз ее заботит. Она отдала ему столько сил, что покинуть Пихтовку без тяжелых переживаний она бы не смогла. Женщина эта особенная. Большое вам выпало счастье.

— Понимаю, Иван Павлыч. И порой, знаете, подумаю и не верю. За что такое счастье? — Нестеров не мог бы объяснить, почему ему захотелось вот так откровенно высказаться перед малознакомым, в сущности, человеком.

— А я скажу, за что такое счастье выпало вам, — убежденно сказал Савельев. — За то самое, о чем вы на конференции рассказывали. Душу, совесть она почуяла, милый человек, в вас. Коммунист вы настоящий. Вот в чем дело. А теперь, товарищ Нестеров, просьба к вам: собраться в два счета и вместе со мной в обком. — Савельев вытащил из маленького карманчика жилета старомодные, круглые, как луковица, часы на длинной цепочке, посмотрел на них. — Сейчас семь тридцать. Часа вам хватит?

— Как это в старину говаривали: голому одеться — только подпоясаться. Буду готов.

— К шубе рукав! — в манере Нестерова воскликнул Савельев.

Оба рассмеялись: Нестеров звонко, заливчато, Савельев беззвучно, но колыхаясь всем телом от ног до чубчика на крупной голове.

«Здравствуй, Лида! Прости, что долго не писал, отделываясь в экстренных случаях телеграммами. Еще раз поздравляю тебя с рождением сына. Будем верить, что судьба нового Тимошки принесет родителям и радость и счастье. А я-то тоже отец! Три дня тому назад Дуня родила дочку. Вот и невеста появилась у вашего Тимошки. Девчоночка моя — вылитая Дуня, такая же черная, большеглазая и громкоголосая. От меня — один носик. Но уже такой точной формы, что просто поразительно. Договорились с Дуней дочку назвать Катей... Нравится ли тебе?

Хлопочу сейчас по дому до полночи, жду Дуню с дочкой из больницы, и хочется, чтоб к их приезду все сияло и блестело.

Работы в экспедиции — выше головы. К семи группам добавлены еще две! Изысканиями охвачена территория свыше ста километров. Мотаюсь по Приречью на чем придется.

Сообщаю тебе самые последние новости по Тульчевскому. Как ты уже знаешь, экспедиция попутно выполнила ряд разведочных и контрольных работ по прииску и руднику. Все они дали отличные результаты. В ближайшее время к нам прибудет Государственная комиссия по приемке объектов.

Обком и облисполком приняли постановление, в котором городок изыскателей в районе заимки Савкина будет назван поселком Тульчевского.

Прииску присвоено имя подполковника Степана Кольцова, а рудник назван именем капитана Перевалова.

Лида, милая, с одной стороны, радостно, что не забыты имена дорогих людей, мечтавших о пробуждении нашего таежного края, с другой — подумаю, что их нет, что легли они в землю в расцвете своих молодых сил, и боль схватывает сердце до крика. Живи они нынче, вместе с нами, сколько бы работы подняли на своих плечах, сколько бы добра принесли людям! Знала бы ты, как они нужны мне сейчас! Прости, что задрожала рука, запрыгал непослушный карандаш. И позволь, Лида, сказать еще раз то, что ты уже слышала от меня: я никогда, никогда не забуду их — Степу, Ивана Алексеевича Перевалова и многих, многих. Ведь они приняли смерть за всех нас,

и пули, которые пронзили их, летели в меня, в тебя, в него...

Поклонись, пожалуйста, своему Николаю Константиновичу и скажи ему, что я проникся к нему огромным уважением за то, что он не ревнует тебя к прошлому, за то, что понимает, что это прошлое неистребимо и память о нем, может быть, самое сильное доказательство благородства души.

Пиши, дорогая Лида, и знай, что я остаюсь твоим другом навсегда.

М. Нестеров

Пихтовка. Экспедиция».

Содержание

Марков Г. М.

М27 Земля Ивана Егорыча. Завещание: Рассказ, повесть. — М.: Современник, 1986. — 95 с.

«Если одному из нас придется погибнуть в битве с врагом, то другой во имя нашей боевой дружбы никогда не забудет о своем долге перед памятью погибшего, перед будущим его родных и близких...» — было записано в «Клятве дружбы», которую дали друг другу фронтовики полковник Михаил Нестеров и подполковник Степан Кольцов, погибший впоследствии в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Нестеров Михаил Иванович не пощадит ни сил, ни времени, чтобы исследовать историю экспедиции Тульчевского, и доведет результаты этой работы до конца. Повесть «Завещание», как и рассказ «Земля Ивана Егорыча», проникнуты любовью к Родине, к отчей земле, раздумьями о мирном предназначении человека.

Лауреат Ленинской премии, дважды Герой Социалистического Труда Георгий Марков держит руку на пульсе жизни, поднимая в своих произведениях актуальные проблемы современности.

М $\frac{4702010200-073}{М106(03)-86}$ без объявл.

ББК 84Р7
Р2

Георгий Мокеевич
Марков

Земля Ивана Егорыча
Завещание

Рассказ, повесть

Редактор *В. Дольников*
Художник *В. Комаров*
Художественный редактор *Г. Саленков*
Технический редактор *Л. Демьянова*
Корректоры *Н. Дмитриева*, *Е. Кабикова*

ИБ № 4761.
Сдано в набор 28.10.85. Подписано к печати 17.12.85. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 5,46. Уч.-изд. л. 4,93. Тираж 500 000 экз. Заказ 4467. Цена 30 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

30 коп.

